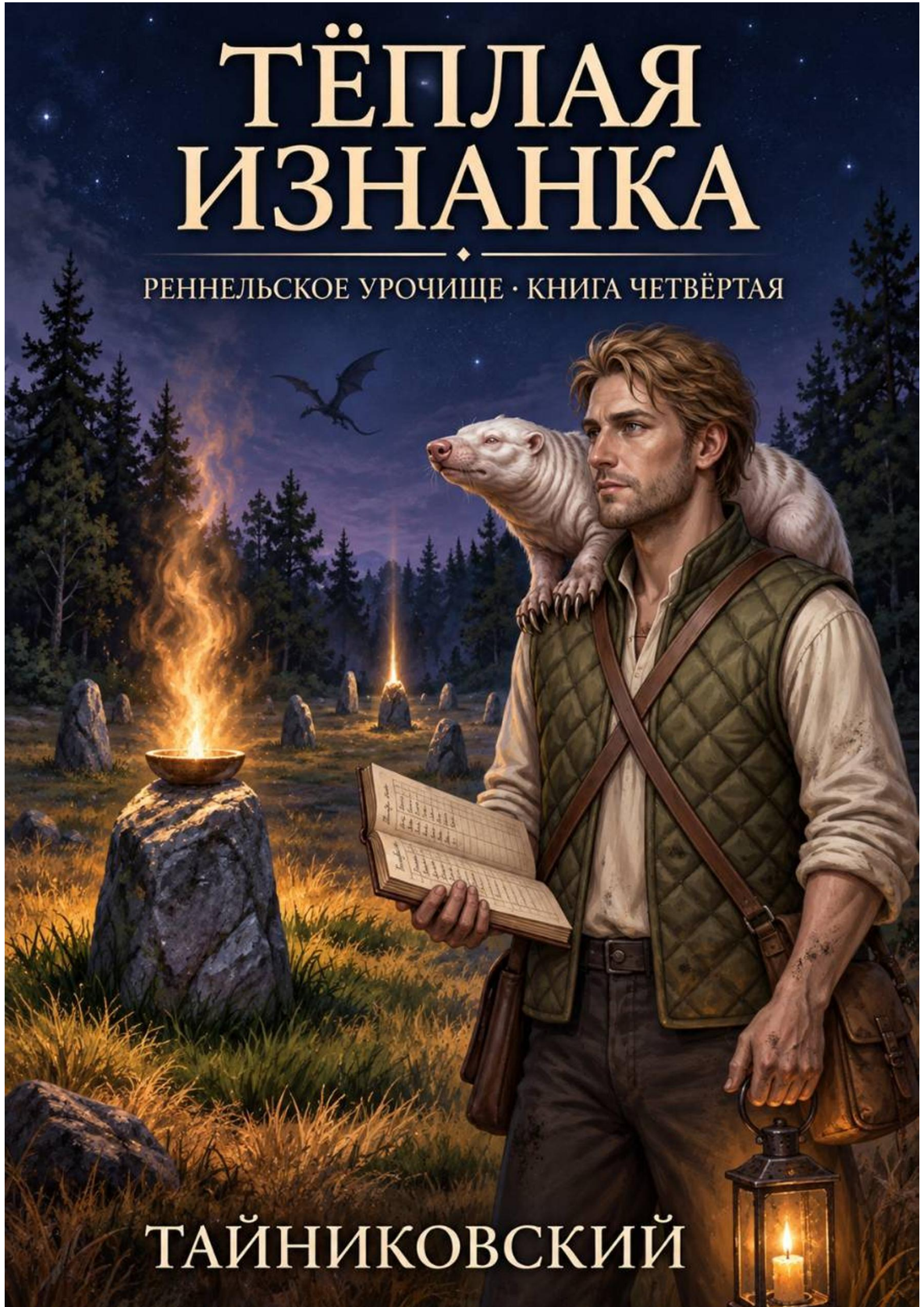


ТЁПЛАЯ ИЗНАНКА

РЕННЕЛЬСКОЕ УРОЧИЩЕ · КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

ТАЙНИКОВСКИЙ



Реннельское урочище

Тайниковский
Тёплая изнанка

«Тайниковский»

2026

Тайниковский

Тёплая изнанка / Тайниковский — «Тайниковский»,
2026 — (Реннельское урочище)

Зоолог Артём Волошин умер, думая о накладной на кормовые смеси, и очнулся в теле молодого барона. Наследство: заповедник магических зверей, четыреста тридцать два золотых долга и двести восемьдесят шесть медяков в кармане. Плюс дракон, который размеры которого зависят от золота. Немного не свойственный для меня жанр, но как начал писать - не смог остановиться) Надеюсь вам понравится!

© Тайниковский, 2026

© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	22
Глава 4	29
Глава 5	38
Глава 6	46
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Тайниковский

Тёплая изнанка

Глава 1

Затычку Бернат принёс на девятнадцатый день, и принёс он не одну, а две.

Положил обе на кухонный стол, рядом, и стал ждать, пока я замечу.

Я в то утро соображал плохо. За девятнадцать дней после ледохода я спал по четыре часа, потому что подвал у меня перестал быть подвалом: в углу под ящиками теперь была яма в семь шагов, в яме — бок камня с пустой чашей набок, и всякий раз, спускаясь туда с фонарём, я ловил себя на том, что смотрю не на чашу, а на плиту над ней.

Плита была пустая.

Девять лет на ней лежал дракон, и за это время я привык, что в подвале был Ксаверий Аргентум Третий. Теперь без него, тут было как-то пусто.

— Барон, вы считать будете или мне вслух сказать?

— Бернат, я вижу, что их две.

— Две, — подтвердил он и придвинул ко мне ближнюю. — Вот эта моя. Три дня работы, порода тамошняя, с прогалины, из того куска, что вы мне привезли. Сядет как влитая, и никто не отличит, покуда не вынет.

Я взял её в руки.

Камень был мокрый на ощупь, хотя лежал на сухом столе, — Бернат говорил, что такая порода всегда мокрая, а отчего, не знает никто, и сорок лет работы ему в этом не помогли.

— Бернат, а вторая?

— А вторая, — отозвался он, — Не моя.

— А чья?

— Барон, вот про это я вам и пришёл рассказывать, и на кухне я про это рассказывать не стану.

* * *

Мы вышли во двор, потому что на кухне в этот час Мавра уже гремела и слушала, а Бернат при Мавре говорить не любил: она его знала мальчишкой, и всякий раз, когда он начинал объяснять про камень, она вставляла, что помнит, как он ел сырое тесто.

Двор был весь в апрельской воде. У нас тут глина, и всякий апрель двор на неделю превращается в мелкое озеро с островами из битого кирпича, и по этим островам пятнадцать человек ходят на работу, и всякий год Гуш говорит, что надо бы подсыпать, и всякий год мы подсыпаем осенью, и всякий апрель это оказывается впустую.

Бернат остановился у сарая, достал вторую и подал мне.

Она была того же цвета и того же зерна, но короче и толще, и с одного бока у неё была наведена гладкая грань — не обломанная, а именно наведённая, руками, с нажимом.

— Бернат, где вы её взяли? — уточнил я.

— В четвёртом. Барон, в чаше четвёртого камня. На прогалине, в полутора верстах отсюда, там, где вы ходите два раза в неделю девять лет подряд.

* * *

Я на это ответил не сразу и ответил не то, чего он ждал.

— Бернат, в полутора верстах.

— В полутора, барон, я же и говорю.

— Бернат, мне это число девятнадцать дней назад назвали, — ответил я. — В ночь на тринадцатое, в ходе, перед тем как он ушёл. Он сказал: заткнутых камней восемьдесят восемь, семь помечены рукой мёртвого человека, и один лежит у тебя в полутора верстах.

Бернат постоял, потом снял шапку и надел обратно.

— Стало быть, я вам ничего не открыл.

— Стало быть, вы мне впервые за девятнадцать дней дали то, что можно взять в руки, — отозвался я.

Я эти девятнадцать дней прожил как живут с занозой, которую видно, а вынуть нечем.

Бернат положил передо мной камень и его можно взвесить. Камень можно показать Кричу, магистру Хольту, палате и всякому, кто спросит. И с этой минуты у меня в доме было не слово улетевшего дракона, а вещественное доказательство того, что он сказал правду хотя бы в одном из трёх пунктов.

— Барон, а третье он вам что сказал?

— Бернат, третьим было, что он вернётся.

— Ну, это мы тоже проверим, — не принял он. — Только, не сейчас.

* * *

Я не сразу нашёл, что ответить, и он этим воспользовался.

— Барон, я вам объясню, а вы потом сами решайте что делать. После той ночи я четыре дня не работал. Я ходил по прогалине и щупал чаши руками, все одиннадцать, потому что я в ту ночь держал в руках выбитую часть и понял, что до этого сорок лет смотрел на камень и не видел, куда смотрю.

— Бернат, и в скольких нашли?

— В одной, — ответил он. — Барон, в одной из одиннадцати. В четвёртом.

Он забрал у меня затычку обратно и повернул её гранью к свету.

— И вот что я вам скажу, а вы думайте. Ту, ночную, выбили изнутри. А эту ставили снаружи, руками, и ставил её человек, который знал, как ставить. Я такую грань навожу за полдня, но у меня и сорок лет опыта.

— Бернат, а вынули вы её когда?

Он помолчал ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы решиться на то, чтобы не соврать.

— Позавчера. Барон, я вынул её без спросу, и я это знаю.

Отчитывать я Берната не стал, и не из доброты.

Я стоял посреди залитого двора с чужим обточенным камнем в руке и считал.

По тому, что нам сказал Ортвейл в феврале, затычка вынимается в мороз: порода при холоде садится по-разному, чужая и своя, и в мороз её можно расшатать, а в тепле она сидит намертво. Ортвейл нашёл шесть таких чаш за четыре года и все шесть открывал зимой, и он говорил об этом как о ремесле, которому научился в поле.

А Бернат вынул эту в конце апреля, голыми руками, в полдень.

— Бернат, она сидела свободно?

— Барон, она сидела как зуб, который вот-вот выпадет, — ответил он. — Я её пальцем качнул, и она пошла.

— И давно она так сидит, по-вашему?

— По-моему, барон, её кто-то уже расшатывал. Не в этом году и не в прошлом. Но расшатывал, а обратно вбил кое-как, и с тех пор она тут и ждала, — немного подумав ответил он и тяжело вздохнул.

Видимо, спокойной жизни мне в это мире не видать...

* * *

На прогалину мы пошли вчетвером после полудня.

Прогалина у нас в полутора верстах на северо-запад, за прудом и за вырубкой, и дорога туда идёт через ольшаник, который в апреле стоит по щиколотку в воде, и мы всякий раз идём по краю, гуськом, и всякий раз кто-нибудь да оступается.

В этот раз оступился я.

Гуш шёл первым, потому что так ходит всегда и иначе не умеет, Илмет — за мной, с сумкой через плечо, а Бернат замыкал и нёс обе затычки в холщовом мешке, как носят инструмент. Прогалина открывается сразу, без перехода: ольшаник кончается, и ты стоишь на ровном, поросшем низкой травой поле в полтора шагов, и на этом поле одиннадцать серых камней по колено и по пояс высотой, расставленных не рядами и не кругом, а как попало.

Двести лет назад их свезли сюда со всего уезда, потому что двенадцатый было не сдвинуть.

Восьмой горел.

Он горел девятый год, с той осени, как я его разжёл, и свет над его чашей стоял столбом в ладонь высотой и в ветер не гнулся, и все, кто приходил на прогалину впервые, сперва шли к нему, а на остальные десять даже не смотрели.

* * *

Четвёртый стоял с краю, ближе всех к ольшанику, и ростом он мне по бедро, и я девять лет ходил мимо него два раза в неделю. У меня в своде записано про него одиннадцать раз, и все одиннадцать записей одинаковые: «чаша суха, камень холоден, изменений нет». Я эти строки писал сам, своей рукой, в разные годы и в разную погоду, и ни разу не сунул в чашу руку.

Бернат опустил на колено и отгрёб от подножия прошлогодний лист.

— Барон, вы подойдите и встаньте с этой стороны. Отсюда видно.

Я подошёл и встал.

Чаша у четвёртого была не такая, как у нашего: мельче и шире, скорее блюдо, чем чаша, и по краю у неё шёл скос, старый, заросший лишайником так, что лишайник этот сам по себе выглядел камнем.

— Илмет, посвети-ка сюда.

— Господин, полдень на дворе, — ответил он, но подошёл.

А затем он подошел еще ближе и наклонился над чашей.

Затем он вдруг замер.

Так замирает человек, который шагнул в комнату и понял, что он там не один.

— Господин, подите сюда.

— Илмет, что там у тебя?

— Господин, тут тепло, — доложил он, не разгибаясь. — Не от солнца. Снизу.

Я опустил руку в чашу.

Из неё шёл воздух — не сквозняк, не дуновение, а ровный, плотный ток, какой бывает в дверях протопленной бани, если приоткрыть их в мороз. Он был тёплый, много теплее апрельского полудня, и он был влажный, и пахло от него не камнем и не водой.

Пахло от него землёй и грибом.

Так пахнет в подполе к концу зимы, когда картошка тронулась. А ещё так пахнет в старом лесу, где под валежником второй год стоит труха.

* * *

Мы просидели у четвёртого камня до вечера.

Илмет промерил чашу трижды, ладонью, локтем и бечёвкой, и записал все три числа отдельно, потому что четыре года назад придумал себе правило записывать промер тем, чем мерил, а не приводить к одному.

Гуш за это время обошёл прогалину по кругу и вернулся.

— Господин, тут трава.

— Гуш, тут везде трава.

— Тут другая, — не принял он и присел у подножия. — Вот. Господин, тут кругом на два шага она зелёная, а дальше жухлая. Она тут зимовала зелёной.

Я посмотрел.

Он был прав, и я это видел девять лет и не замечал, потому что у камня всегда мокро, а где мокро, там трава гуще, и я девять лет объяснял себе это водой.

— Гуш, а ты когда это заметил?

— Нынче. Господин, я и раньше видел. Заметил нынче.

— Гуш, а разница-то в чём?

— Разница, господин, в том, что раньше я на неё смотрел по-обычному, а нынче по-другому.

Вечером я открыл свод и просидел над ним час, прежде чем написать первую строку.

Свод у меня заведён на девятый год и ведётся по четырём графам, и четвертую придумал не я, а девятнадцатилетний мальчишка из Стеклойной степи, который в тринадцать лет пришёл сюда через горящий камень и остался. Графа называлась «мнение наблюдателя», и с тех пор как она появилась, я перестал врать себе в своде, потому что врать в первых трёх графах трудно, а в четвертой стыдно.

Написал я в тот вечер вот что.

«Второе мая шестьсот сорок девятого года.

Наблюдалось: чаша четвертого камня на прогалине была заткнута осколком чужой породы. Затычка вынута Бернато-плотником тридцатого апреля. Из чаши идёт тёплый влажный воздух, запах — прель, гриб, земля. Трава вокруг подножия на два шага зимовала зелёной.

Кем: держатель, Илмет из Стеклойной степи, Бернат-плотник, работник Гуш.

Когда: второго мая, с полудня до заката.

Моё мнение: я девять лет писал про этот камень изменений нет“ и ни разу не проверил рукой.

Заметить: затычку кто-то уже расшатывал прежде Берната».

* * *

Гретхен прочитала это утром и подняла голову от листа не сразу.

Она у нас третий год писцом, и за третий год я выучил, что когда она долго не поднимает головы, разговор будет тяжёлый.

— Господин барон, я вам сперва скажу про бумаги, а потом про остальное.

— Гретхен, говорите как удобнее.

— По бумагам, — отозвалась Гретхен Веккель. — У вас за девятнадцать дней прибавилось две живые чаши. Одна под домом, вторая в полутора верстах. Обе не в реестре. Господин барон, вы держатель перехода двенадцать дробь восемь. Одного перехода. По номеру.

— Гретхен, это я понимаю.

— Это вы понимаете умом, — не приняла она. — А я вам скажу, как это читается в палате. В палате это читается так, что держатель Реннел за одну весну обзавёлся двумя неза-явленными переходами и молчит про оба.

Она положила перо.

— И самое скверное тут, господин барон, то, что это правда.

Мартин пришёл к этому разговору к середине и слушал стоя, как стоял одиннадцать лет у стола Веккеля.

Он у меня четвертый год и до сих пор не сажился, пока не скажешь дважды.

— Барон, я прошу позволения сказать не по делу.

— Мартин, садитесь и говорите по делу, — попросил я. — Вы одиннадцать лет писали такие бумаги, и мне нужно именно ваше мнение.

Он сел на край стула.

— Барон, статья есть, и статья тяжёлая, — доложил Мартин Веккель. — Соккрытие живой чаши. По ней снимают держание и передают ведомству. Но я вам скажу другое, и вы это запомните лучше статьи.

— Мартин, говорите.

— Заявить надо самому и первым, — произнес он. — Барон, за одиннадцать лет я подшил девять дел, где человек скрыл, и во всех девяти его погубило не соккрытие, а то, что нашли без него. Ежели вы заявите сами, это будет обстоятельство. Ежели найдут — это будет улика.

* * *

Гретхен считала при мне вслух, и считала она долго.

Заявить означало вызвать освидетельствование. Освидетельствование означало комиссию, комиссия — не меньше трёх человек на неделю, а всякий приезжий в Урочище стоит нам постоя, корма и людей, и в мае, когда идёт приёмка и на дворе сорок голов на выдержке, у нас нет ни одного свободного человека. Не заявить означало ждать, пока приедет Ортвейл, у которого дело о порче чаш не закрыто и, по его же словам, закрыто не будет.

— Господин барон, я вам скажу цифру, а вы решайте, — отозвалась она наконец. — Комиссия нам станет в восемнадцать золотых. Это квартальные кормовые целиком.

— Гретхен, а неявка?

— А неявка вам станет в Урочище, — уточнила Гретхен Веккель. — Цифры у меня для этого нет.

— Гретхен, а если заявить только одну? Ту, что под домом.

— Тогда вторую найдут, и найдут её после вашего заявления, и это будет хуже, чем если бы вы молчали про обе.

Мавру я в тот день застал на кухне за делом, которого не понял.

Она стояла у окна и клала на наружный подоконник медяк.

Двенадцать лет она ставила на этот подоконник лампу, и все двенадцать лет никто в доме не спрашивал, для кого, потому что все знали и молчали. Лампу она ставить перестала в январе сорок третьего, когда человек, для которого она её ставила, умер в дальней горнице, и подоконник шесть лет стоял пустой.

А медяк там появлялся девять лет, каждый вечер, и клал его я.

— Мавра, вы зачем?

— А затем, мальчик мой, что ты нынче забудешь, — не приняла она, не оборачиваясь. — Ты второй день ходишь как пришибленный, и вечером ты про подоконник не вспомнишь, а я вспомню.

— Мавра, он улетел. Он на четвёртый день пути или уже на месте.

— Улетел, — согласилась она и подвинула медяк к самому краю. — И что же теперь, порядок менять?

Она обернулась и посмотрела на меня так, как смотрит человек, который старше тебя на полвека с лишком и об этом помнит.

— Мальчик мой, вот вернётся он через год, а подоконник пустой. И что он подумает?

— Ничего не подумает, - отвентил я.

— А вот и нет, - покачала она головой. - Я ящерицу почти пол века знаю, - произнесла она. - Подумает он, да еще как.

* * *

Двадцать вторую я в те дни навещал дважды в день, как навещал пеплогрива, и это была первая перемена, которую я в себе заметил после той ночи. Она лежала в своём загоне на

боку и не вставала, когда я входил, а раньше вставала всегда. Лапы у неё были обмотаны — Илария перевязывала через день, и на четвёртый раз сказала, что когти на передних сойдут все и отрастут не раньше осени, и что ходить она будет, а копать не сможет до самых холодов.

— Тобиас, вы опять сидите тут полчаса.

— Илария, я пришёл посмотреть повязку.

— Повязку вы посмотрели в первые две минуты, — не приняла она и стала убирать инструмент в сумку. — Тобиас, я двенадцать лет ездила по деревням и знаю, как выглядит человек, который сидит у зверя и думает про своё. Он сидит ровно так.

— Илария, я думаю про четвёртый камень.

— Вы думаете про пустую плиту у себя в подвале, — уточнила Илария тен Овеск. — А про четвёртый камень вы думаете, чтобы про плиту не думать.

* * *

Я не стал спорить, потому что она была права дважды.

Илмет в тот же день завёл для двадцать второй отдельную книгу, и завёл её без спросу, и принёс мне уже прошитой.

— Господин, я её переписал из приёмной.

— Илмет, ты переписал шесть лет?

— Шесть лет и четыре месяца, — доложил он. — Господин, в приёмной книге она идёт головой под номером и по графе «прочее». Я её оттуда не вычеркнул, потому что вычёркивать нельзя. Я завёл вторую.

Он положил книгу на стол и придержал ладонью.

— Господин, вы в своде написали, что это ваша вина, а не её. Я это читал. А потом подумал, что писать в своде легко, и сделал книгу.

— Илмет, а как ты её назвал?

— Никак не назвал покамест. Господин, я название оставил вам, потому что вы девять лет не решаетесь, а решать всё равно придётся.

Крич приехал восьмого мая, и приехал он не один, а с писцом, чего за ним прежде не водилось.

Виллем Крич ездил к нам на кварталный учёт с самого первого года, и за девять лет мы прошли с ним путь от взаимной неприязни до чего-то, чему я до сих пор не подобрал названия. Он по-прежнему считал, что я веду хозяйство не по уставу, а я по-прежнему считал, что устав писали люди, ни разу не державшие в руках больного зверя, и мы оба за девять лет ни разу не сказали этого вслух.

Считал он два дня.

На второй день к вечеру он позвал меня в зимовник, где стоял его раскладной стол, и положил передо мной лист.

— Барон, по головам у вас восемьдесят шесть. По видам двадцать шесть. Это я записал и подпишу.

— Магистр Крич, я слышу, что дальше будет «но».

— Дальше будет не «но», — спокойно ответил он. — Дальше будет «зачтено».

Он развернул лист ко мне.

Из двадцати шести видов зачтено было девять.

— Магистр Крич, объясните мне это по пунктам, — попросил я.

— Барон, я объясню по одному, и вам хватит, — доложил Виллем Крич. — Вид зачитывается, когда при нём пара и приплод за два года. Один экземпляр — не зачтено. Пара без приплода — не зачтено. Всё прочее — как у вас.

— И что переменилось? Девять лет считали по головам.

— Девять лет считали по головам, — подтвердил он. — А с нового года считают по зачтённым видам, и кормовые тоже. Барон, я вам это показываю в мае, а не в декабре, и я это делаю не по уставу.

Он свернул лист.

— И вы, барон, будьте добры, не благодарите. Я к вам приезжаю девять лет и не хочу приехать на десятый к Марвейнам.

— Магистр Крич, а Марвейны тут при чём?

— Барон, они пока ни при чём, и я вам сказал лишнее, — не принял он. — Считайте, что я назвал первую фамилию, какая пришла в голову.

Считали мы с Гретхен в ту же ночь.

Девять зачтённых видов вместо двадцати шести означали кормовых не двенадцать в квартал, а четыре с половиной, и это при восьмидесяти шести головах, из которых сорок на выдержке и едят вдвое против обычного, потому что зверь на выдержке всегда ест вдвое. Мы сидели в кабинете до третьего часа и перебирали, что можно свести в пару.

Пару свести нельзя.

У меня двадцать шесть видов, и семнадцать из них пришли ко мне поодиночке: изъятые у балаганов, отбитые у скупщиков, привезённые с Ольмерского перехода в числе двадцати двух голов, которых мне было велено не брать. Они не пара и парой не станут, потому что второй такой в королевстве нет, а если и есть, то стоит у кого-то в частном собрании и мне его не отдадут.

— Господин барон, вы понимаете, к чему это сводится?

— Гретхен, к тому, что нужен вид.

— К тому, что нужен вид, который вы возьмёте сами, — уточнила она. — Не изъятый и не купленный. Ваш, с обоими родителями и с записью о том, откуда.

* * *

Фойт из Овеськи привёз дрова одиннадцатого числа и привёз их на два воза меньше уговорённого.

Он за тридцать лет возит нам дрова и ни разу не недовёз, и я это заметил прежде, чем он слез с телеги.

— Фойт, а где остальное?

— Барон, остальное я вам привезу через месяц, и привезу честно, — доложил он. — А нынче не привёз, потому что мне лес не дали.

— Фойт, кто вам не дал лес? Овеськи не за вами, что ли?

— Овеськи за мной, — не принял он и сел на облучок боком. — Барон, за мной пятьдесят пять лет и полтора десятины, и лес в них мой. А заёмное письмо моё нынче не у Кальценского приказчика.

Он поглядел в сторону.

— Барон, у меня заёмное на сто двадцать золотых, и я по нему платил одиннадцать лет и выплатил восемьдесят. А в марте мне пришлось, что письмо перекуплено и платить я теперь должен в другое место. И место это в столице.

Я расспрашивал его час, и за час выяснилось, что в уезде так не у него одного.

Заёмные письма перекупили у четверых: у Фойта, у мельника в Кальцах, у вдовы с той стороны реки и у двоих братьев, чей надел лежит между нашей вырубкой и наделом тен Овесков. Все четыре письма ушли в одну контору, и это было самое неприятное во всей истории. Никто из четверых не был в просрочке, никого не теснили, условия остались прежние до дня, и все четверо узнали об этом письмом, вежливым, на хорошей бумаге, с пожеланием здоровья.

— Фойт, а вы кому-нибудь про это говорили?

— Барон, я мужик, а не дурак, — отозвался он. — Я про это говорю вам, потому что вы у нас единственный, кто пишет.

— Фойт, а от того, что я запишу, вам-то что?

— А мне то, барон, что записанное потом кто-нибудь прочтёт.

* * *

Илария приехала вечером того же дня, и я ей это пересказал, и она выслушала, не перебивая, до конца.

Потом сняла перчатки и положила их на стол.

— Тобиас, вы про мой надел не сказали.

— Илария, про ваш надел разговора не было.

— Значит, будет, — не приняла она. — Тобиас, мой надел лежит ровно между теми двумя братьями и вашей вырубкой, и заёмного письма на нём нет, потому что отец за всю жизнь не занял ни медяка и меня тем же испортил. И это значит, что я у них посреди дороги стою.

Она помолчала.

— И вот теперь вы мне предложите денег, а я откажусь, и мы оба потратим четверть часа. Давайте не будем.

— Илария, я не собирался предлагать денег.

— Собирались, — отрезала Илария тен Овеск. — Тобиас, у вас это на лице написано с той минуты, как вы про братьев сказали.

Ночью я не спал и пошёл на прогалину один.

Так делать нельзя, и я это знал с первого года: на прогалину ходят вдвоём, с фонарём и с записью в журнале обхода, потому что тринадцатый камень стоит там, где гнездо тихокрылов, а тихокрылы ночью не разбирают, кто идёт. Я всё-равно пошел и журнал не заполнил. Ночь была тихая, с той низкой ясностью, какая бывает в начале мая, когда днём уже тепло, а к утру ещё подмерзает, и над восьмым камнем стоял его ровный свет, и в этом свете прогалина выглядела как комната, из которой вынесли мебель.

Я дошёл до четвёртого и сел рядом с ним на землю.

Над чашей стоял пар.

Днём его не видно, а ночью, когда воздух остыл, тёплый ток из чаши сделался видимым, и над серым камнем поднимался столбик белёсого пара в две ладони, и его сносило к ольшанику.

Я сидел и смотрел на него, наверное, полчаса.

А потом сделал то, ради чего, как я теперь понимаю, и шёл: положил обе ладони на край чаши и потянулся туда, вниз, тем, чем тянутся, когда ищут в темноте рукой. Девять лет назад меня этим накрыло впервые, и я тогда ничего не делал сам. Потом я научился тянуться, и научился находить, и за девять лет привык, что нахожу одного: пеплогрива в его дворе, кисейницу на гнезде, двадцать вторую в подвале. Одного зверя, как одну свечу в тёмной комнате.

В чаше четвёртого камня не было что-то другое. Их было столько, что я не смог сосчитать и через пару секунд перестал пытаться, потому что считать там было нечего: это не было что-то непонятное, что шло сплошным фоном, как идёт гул от дальнего леса в ветреную ночь, когда не различить ни одного дерева.

При этом оно было тёплое, влажное, живое и очень старое.

Я сидел с ладонями на камне и не мог убрать рук, и меня трясло, и я в какой-то момент понял, что сижу так уже долго и что у меня по лицу течёт, а я этого не заметил.

А потом из этого гула ко мне повернулось одно. Не подошло и не приблизилось — просто в сплошном вдруг образовалось внимание, узкое и определённое, как если бы в тёмной комнате, полной спящих, кто-то один открыл глаза и посмотрел точно на тебя. И держалось оно на мне ровно столько, сколько я успел сосчитать до четырёх.

* * *

Руки я оторвал сам и упал назад, на траву, и лежал на спине, глядя в небо, пока не перестало трясти.

Трава подо мной была тёплая.

Я поднялся, отряхнулся и пошёл домой, и всю дорогу через ольшаник шёл быстро и ни разу не обернулся, чего за собой не помню с первого года.

В кабинете я сел к своду и сидел над ним до света, и написать сумел только четвёртую графу, а первые три оставил пустыми и заполнил уже потом, через день.

«Моё мнение: за девять лет я ни разу не находил больше одного зверя разом.

Нынче я нашёл не зверей.

Нынче меня нашли».

Глава 2

Проснулся я в тот день в первом часу пополудни, чего со мной не случилось за девять лет ни разу.

Мавра меня не будила и никого не пустила, и когда я вышел на кухню — небритый, в чём спал, с гудящей головой. Она поставила передо мной тарелку и не сказала про это ни слова, а сказала совсем про другое. Гуш переложил кладку в пятом дворе не туда, куда велено, и что разбираться с этим мне, потому что она ему уже говорила и он её не слушает. Я ел и слушал и думал о том, что вот сейчас надо бы сказать вслух: я ночью ходил один на прогалину без журнала, сунул руки в чашу и нашёл там столько живого, что не сумел сосчитать. И не сказал.

Так я промолчал до вечера, а вечером понял, что молчу второй день, и что это уже не молчание, а враньё. За девять лет я выучил про себя одну неприятную вещь: я легко записываю то, чего боюсь, и трудно выговариваю. В своде у меня стоит всё, вплоть до собственных ошибок с датами и падежом, а вслух я половину этого не сказал ни разу и не скажу.

— Мальчик мой, ты вчера умывался?

— Мавра, я умывался утром.

— Ты умывался в среду, — не приняла она и забрала у меня пустую тарелку. — У тебя за ушами земля, а на локтях трава. Ты в этом спал.

* * *

Илмету я рассказал первому, и рассказал на другой день, в зимовнике, где он разбирал приёмные листы.

Выбрал я его не потому, что он ближе прочих, а потому, что он единственный в доме, кто на всякую новую информацию, сперва берёт перо и только потом удивляется.

Слушал он не перебивая, и пока я говорил, ни разу не поднял головы, и я к середине стал думать, что он занят своим.

— Господин, я вас записываю.

— Илмет, ты и это записываешь?

— Я это записываю в первую очередь, — доложил он и дописал строку. — Господин, у меня в приёмной книге шестьсот записей про зверей и ни одной про вас, а вы девятый год тут главный за кем стоит записывать и наблюдать.

Он положил перо и повернулся ко мне, и я увидел, что он всё это время писал с прямой спиной, как пишут, когда боятся сбиться.

— Господин, я вам скажу своё мнение, и вы его в свод не переносите, потому что оно не наблюдение.

— Илмет, говори как есть.

— Вы говорите, что оно на вас повернулось, — произнес он. — Господин, повернуться может всякий. А вы сказали другое: что оно вас держало и отпустило само. Это ни как не тянет на «повернулось». Это другое.

Он подвинул ко мне лист.

— И тут вот что важно. Вы раньше «открывались» только животным и только тем, что были рядом. И как вам удалось сделать это через чашу..., — он сделал паузу. — Вот это и самое интересное и это я и запишу, — добавил он и вновь уткнулся в журнал.

* * *

Заявление мы составляли втроём и составляли его два дня.

Мартин сказал сразу, что писать надо коротко и не объяснять, потому что всякое объяснение в бумаге такого рода читается как оправдание, а оправдываться заранее — это первое,

за что цепляются в палате. Гретхен с ним не согласилась, и они препирались с четверть часа, и кончилось тем, что писали всё-таки по его.

Вышло на одном листе, и вышло вот что.

Держатель перехода двенадцать дробь восемь доводит до сведения палаты, что в подведомственном ему Реннельском перекрёстке обнаружены две чаши, ранее в реестре не значившиеся.

Первая — нижняя чаша двенадцатого камня, вскрытая снизу зверем из приёмного двора в ночь на тринадцатое апреля; чаша была заткнута осколком чужой породы, осколок при вскрытии выбит и хранится у держателя.

Вторая — чаша четвёртого камня на прогалине, заткнутая тем же способом; затычка вынута тридцатого апреля плотником Бернатом при осмотре и хранится у держателя.

Обе чаши держателем не разжигались, работ при них не велось, доступ к ним закрыт.

Держатель просит освидетельствования и берёт постой комиссии на себя.

— Мартин, а последняя строка зачем?

— Затем, барон, что восемнадцать золотых вы всё равно заплатите, — доложил Мартин Веккель. — А так они будут заплачены по вашему предложению, а не по их предписанию. Это разные строки в деле и разное к вам отношение.

Отправили мы это шестого числа, с почтой, в двух списках: один в палату, второй Ортвейлу лично.

Второй список был мой, и на нём я приписал три строки от руки, и Гретхен, прочитав приписку, посмотрела на меня и промолчала.

Написано там было: «Магистр, вы в феврале сказали, что дело о порче чаш вами не закрыто. Посылаю вам две порченные чаши, обе на моей земле. Я не знаю, кто их заткнул, и хочу знать больше, чем боюсь узнать».

— Господин барон, вы понимаете, что вы ему сейчас предложили?

— Гретхен, я предложил ему две чаши.

— Вы предложили ему себя, — не приняла она и запечатала лист. — Господин барон, у человека четыре года дело, в котором шесть чаш и ни одного хозяина. А нынче у него будет хозяин. И он хороший человек, я это видела, но он в первую голову следователь.

Пим зашёл ко мне в тот же вечер и зашёл не по этому делу, а по своему.

Он у нас директор школы третий год, ему двадцать четыре, и он до сих пор входил в кабинет так, будто сейчас скажут, что зря пришёл. За зиму он завёл разбор чужих записей: брал лист какого-нибудь ученика и разбирал при всех, не называя, чей, и ученики уже научились узнавать свой лист и молчать.

— Барон, мне на лето нужны двое.

— Пим, на лето у меня нет и одного.

— Я знаю, — кивнул он. — Барон, я не прошу с работ. Я прошу отдать мне Тильду и Кемпа на четыре часа в день, потому что они уже пишут лучше половины моих и им скучно, а от скуки в шестнадцать лет уходят.

Он помолчал и добавил то, чего я не ждал.

— Барон, я в шестнадцать лет собирался в наёмники. Я про это никому тут не говорил, а вам говорю, потому что вы тогда меня не отпустили и не уговаривали. Вы мне дали книгу и велели считать.

Обоз с приёмкой пришёл пятнадцатого мая, и пришёл он на день раньше уведомления, как приходит всегда.

Возчиков было трое, ящиков девять, и сопроводительные на все девять были подписаны одной рукой в Кальтене, при таможенной части, и подписаны они были небрежно: в четырёх листах не стояло даты изъятия, а в двух не стояло и места.

Разбирали мы это до темноты.

Порядок у нас был заведён с первого года приёмного двора и держался на том, что ящик не открывают, пока не прочитан лист, а лист не подписывают, пока не открыт ящик. Илмет читал вслух, Гуш стоял у ящика, Илария у стола с инструментом, я писал. В карантин идёт всё без разбора, и всё сидит там двадцать один день, и за девять лет мы не сократили этот срок ни разу, хотя просили меня об этом трижды, и один раз просил человек из палаты.

— Господин, лист седьмой. Изъято у балагана в Верхнем Вельне, дата двенадцатое апреля, вид не назван, живых одна особь.

— Илмет, а что в листе про корм?

— Про корм в листе ничего, — доложил он. — Господин, тут вообще шесть строк, и две из них про то, кто изымал.

* * *

Восемь ящиков мы открыли и разобрали за четыре часа.

Дальше пошло как всегда: две птицы, у которых перо сбито в дороге до основания, мунлик-полукровка, которого нам везли третий раз за год и всякий раз с новым названием и четверо мелких, из которых двое здоровы, а двое поедут в изолятор, потому что их поведение не понравилось Илларии.

Девятый ящик был другой.

Это был короб, а не ящик, обитый по углам железом, с двойной крышкой и с решёткой, забитой изнутри мокрым мхом, и мох этот в дороге высох и стал войлоком, и из-под него шёл запах, который я узнал раньше, чем понял, что узнаю.

— Гуш, не открывай.

— Господин, а чего так? — не понял он и отступил от короба.

— Я пока не знаю, — покачал я головой. — Но думаю, лучше вскроем его завтра.

Открывали мы его на другое утро, при свете, вчетвером, и делали это очень медленно.

Внутри сидел зверь величиной с хорошего барсука, и был он бледный, почти белый, с кожей влажной и складчатой, и шерсть на нём росла не сплошь, а полосами по хребту и по бокам, будто её выщипали. Морда у него была короткая и тупая, вроде лопаты, а глаза — если это были они, были затянuty плёнкой и утоплены так глубоко, что видно их стало только на третий день.

Передние лапы у него были шире задних две и заканчивались когтями, стёртыми до мяса, и от этого мелкого непрерывного движения мордой у меня к концу четверти часа стало нехорошо, потому что так водит головой не зверь, который принохивается, а слепой, который слушает.

Он не забился в угол и не кинулся. Он сидел ровно посередине короба, повернув морду к открытой крышке, и водил ею мелко, слева направо и обратно, и делал это не переставая всё время, пока мы на него смотрели.

— Тобиас, у него когти сточены о железо.

— Илария, он что же, всю дорогу рыл?

— Всю дорогу рыл, и не дорыл, и потому живой, — уточнила Илария тен Овеск и присела на корточки у решётки. — Тобиас, зверь, который роет железо, не сбежать хочет. Ему надо рыть. Это как дышать.

Мы перевели его в карантинный двор, в третью клетку, и в первый же день выяснилось то, чего я боялся.

Он не ел. Ему давали всё, что у нас есть, и давали по очереди и вперемешку: корнеплод варёный и сырой, зерно, мясо парное и мясо с душиком, рыбу, творог, личинку, кору, мочёное яблоко. Гуш за два дня перепробовал восемнадцать кормов, записывая каждый, потому что у нас так положено, и против всех восемнадцати стояло одно и то же слово.

На третий день он перестал водить мордой и лёг, и лежал он так, как лежит зверь, решивший не тратиться: подобрав под себя широкие передние лапы и уткнув морду в угол, где сырее.

— Господин, я вам скажу, что у нас есть три дня.

— Илмет, отчего три?

— Оттого, что он лёг на третьи сутки, а лежат обыкновенно вдвое дольше, чем ходят, — доложил он. — Господин, это не наука. Это я по приёмной книге сосчитал за шесть лет: у нас так легли одиннадцать, и девять из них не встали.

Сопроводительный лист я в эти дни перечитал раз двадцать.

Написано в нём было шесть строк, и из шести строк полезной оказалась одна: «изъято при балагане Хорста в Верхнем Вельне, содержалось два года, от прежнего владельца не принято». Всё прочее было общими словами, а внизу стояла пометка, которую я видел за девять лет трижды и оба прежних раза не понял, потому что она ничего не означает: «по усмотрению изымающего».

Мартин, прочитав, показал пальцем на строку про два года.

— Барон, вот тут вам и вся бумага.

— Мартин, объясните, чего я не вижу.

— Два года, барон, — ответил он. — Ежели он у балагана два года прожил, его кто-то два года кормил, и кормил чем-то, чего у вас тут нет. Ищите не корм. Ищите того, кто кормил.

Он положил лист.

— И я вам скажу ещё одно, а вы думайте. Балаган Хорста я знаю. Он по бумагам ездит от Кальтена до Верхнего Вельна одиннадцать лет, и за одиннадцать лет у него изымали дважды. Оба раза не зверя, а бумаги.

* * *

Спасли его не мы, а Гуш, и сделал он его тем, чему нигде не учат.

На четвёртый день он пришёл ко мне в кабинет с ведром, поставил ведро на пол и не стал ничего объяснять, а просто отошёл к двери и стал ждать, чтобы я посмотрел сам.

В ведре была труха.

Он набрал её в ольшанике, из-под валежника второго года лежки, — бурую, тяжёлую, мокрую, с белыми нитями по излому и с грибной мелочью, которую в деревне зовут поганкой и не трогают.

— Гуш, ты почему решил, что это?

— Господин, я не решал, — ответил он. — Я третий день хожу мимо той чаши на прогалине, и от неё пахнет, и от короба пахло. Я и подумал, что надо принести то, что похоже пахнет. Я думал, будет неправильно.

— Гуш, а оказалось?

— А оказалось, что он в ведро головой залез, покуда я нёс, — доложил Гуш. — Господин, я его нёс на плече, а он решётку продавил мордой.

...

Ел он часа полтора и съел почти полное ведро. Ел он не как ест голодный зверь — не хватая и не давясь, — а ровно, методично, подбирая трухой белые нити и оставляя всё бурое, и к концу в ведре остался чистый перегной без единой нити, и по этому остатку стало видно, что именно он выбирал.

Илария смотрела на это, сидя на перевёрнутом ящике, и не сказала ни слова, пока он не кончил.

— Тобиас, вы понимаете, что мы нынче сделали?

— Илария, мы его накормили.

— Мы его накормили на девять дней, — ответила она. — Тобиас, столько валежника второго года в вашем ольшанике. Я двенадцать лет по деревьям ездила, я эти вещи считаю прежде, чем радоваться.

Она встала и отряхнула подол.

— И вот вам второе. Он ел не гриб. Он ел грибницу. А грибница в ольшанике растёт три года, и вырастить её быстрее нельзя ни за какие деньги.

Ольшаник мы мерили на другой день вшестером и мерили его до вечера.

Делали это так: Илмет с Тильдой шли по краю с бечёвкой и били колышки через двадцать шагов, а Гуш с Кемпом заходили внутрь и на каждом участке считали валежник по годам лежки, и я ходил следом и записывал, и Бернат ходил следом за мной и спорил со всеми по очереди. Ольшаник у нас в тридцать с чем-то десятин, но валежник второго года лежит не везде: там, где посуше, ольха падает и лежит сухая, а нужное нам делается только в мочажинах, и мочажин в ольшанике оказалось семь.

К вечеру у меня в листе стояло число, которое я перепроверил дважды.

— Господин барон, я сложила по вашим семи.

— Тильда, говори цифру, я уже догадываюсь.

— Тридцать одно ведро, — доложила она. — Господин барон, и это ежели брать подчистую, а подчистую брать нельзя, потому что она тогда не нарастёт. Я про это в третьем классе на разборе слушала.

Гуш на это сел на пень и высказался длиннее обыкновенного.

— Господин, тридцать одно ведро — это месяц.

— Гуш, у него уходит по ведру в день?

— По ведру в день он ел с голодухи, — не принял он. — Господин, на прокорм ему довольно трети. Стало быть, месяца три, ежели не жадничать. А потом ольшаник кончится, и другого ольшаника у нас нет, потому что за рекой сосняк, а в сосняке этого не растёт.

Он поковырял землю носком.

— И вы, господин, не глядите на меня. Я не умею её растить. Я тридцать лет со зверем, а не с гнилью.

Бернат, до того молчавший, снял шапку и надел её обратно, что у него означает решение.

— Барон, а я, может, и умею.

...

Объяснял он это на обратной дороге и объяснял по-своему — через погреб.

По его словам, всякая гниль любит три вещи: тепло ровное, сырость постоянную и покой, и покой тут главное, потому что перекладывать её нельзя. Строить он предлагал не яму, а сруб, вкопанный в склон за третьим двором, с двойной крышкой и с земляной засыпкой поверху, и закладывать туда ольху не сушёную, а свежесваленную, слоями, перекладывая тем самым валежником второго года, который мы нынче считали.

— Барон, я вам такую вещь ставил один раз в жизни, и ставил не для зверя.

— Бернат, а для чего же вы её ставили?

— Для сыра, — доложил он. — Барон, в Кальцах у попа была сырня, и я ему клал погреб с двойной засыпкой, и он в нём тринадцать лет держал ровные восемь градусов. Поп помер, сырня стоит.

— Бернат, а сколько времени до первой отдачи?

— Года полтора, — уточнил он и остановился посреди дороги. — Барон, я вам это говорю сразу, покуда вы не обрадовались. Полтора года, и это ежели заложить в мае, а нынче середина мая, и мне нужно двенадцать возов ольхи и четверо людей на восемь дней.

* * *

Считали мы с Гретхен вечером, и считать было нечего.

Двенадцать возов ольхи у нас свои, восемь дней четверых людей — тоже свои, но своих людей у нас пятнадцать на восемьдесят шесть голов и на сорок на выдержке, и вынуть четверых на восемь дней в мае означало не вынуть их, а перестать делать что-то другое.

— Господин барон, я вам скажу, чего вы не спросили.

— Говорите, — спокойно ответил я.

— Полтора года, — произнесла она. — Господин барон, вы велите заложить сруб нынче, а первая отдача будет в конце пятидесятого. У вас зверь на три месяца ольшаника. Сруб его не спасёт.

— Гретхен, я это понимаю.

— Понимаете и всё равно велите, — уточнила Гретхен Веккель и придвинула к себе чистый лист. — Ну и хорошо. Я не отговариваю, я записываю. Просто, господин барон, будьте добры, знайте, что вы нынче строите не ему.

* * *

Илмет в тот вечер принёс мне два листа и положил их рядом.

На первом был его замер воздуха из чаши четвёртого камня: тёплый, влажный, запах — прель, гриб, земля. На втором — запись про короб: мокрый мох, войлок, запах тот же.

— Господин, я эти два листа положил рядом и три часа сидел.

— Илмет, и до чего же ты досидел?

— До того, что мне надо сказать вам глупость, — доложил он. — Господин, я её скажу, а вы не смейтесь, потому что я её проверял.

— Илмет, говори как есть.

— Его везли в мокром мху, — произнес он. — Господин, мох в коробе не для мягкости. Мох держит сырость. Тот, кто его паковал, знал, что зверя надо везти мокрым, а этого не знали ни в Кальтене, ни в таможенной части, потому что там в листе даже вида не написали.

Он придавил лист ладонью.

— Господин, его паковал тот, кто его два года кормил. И паковал он его правильно.

Тильда принесла мне свой лист про него на другое утро и принесла сама, минуя Пима, чего у них не положено.

Ей семнадцатый год, она у нас третий, и она единственная из учеников, кто пишет мнение наблюдателя не в конце, а по ходу, и Пим с ней за это воюет второй год, а я не вмешиваюсь, потому что мне её листы читать интереснее.

— Господин барон, я нарушила порядок, и вы меня после отругайте.

— Тильда, я тебя отругаю, когда прочту. Садись.

— Я постою, — ответила она. — Господин барон, я четыре дня сидела у третьей клетки по часу и записала одно, чего больше никто не записал. Он ходит по кругу в шесть шагов. И круг у него всегда против солнца.

Я поднял голову от листа.

— Тильда, ты уверена?

— Я считала девять раз в разное время, — доложила она. — Господин барон, я оттого и порядок нарушила. Я думала, ежели через Пима, то это на неделю, а я не знаю, важное оно или нет, и вы тоже не знаете, но вы знаете, у кого спросить.

Спросить было не у кого, и в этом состояла главная перемена этой весны.

Девять лет всякий раз, когда я упирался в такое — в мелочь, которая или ничего не значит, или значит всё, — я шёл в подвал и садился на ступеньку, и мне со второго слова говорили, что я осёл, и объясняли, почему именно. За девять лет я к этому привык так, как привыкают к лампе в коридоре: её не замечают, пока она горит.

Я в тот день всё-таки спустился в подвал.

Постоял у плиты, потрогал её ладонью — она была холодная и уже не пахла, — и пошёл наверх, и на лестнице встретил Мартина, который спускался с фонарём и остановился, увидев меня.

— Барон, вам нехорошо?

— Мартин, мне обыкновенно. Я привычку изживаю.

— Это дело долгое, — произнес он и посторонился. — Барон, я одиннадцать лет ходил в комнату, где сидел мой хозяин, и три месяца после его смерти ходил туда же. Меня отучили тем, что комнату отдали другому.

Он посветил вниз, в темноту хода.

— А у вас, барон, отдать некому. Стало быть, ходите.

Вечером Мавра вынесла на крыльцо лавку и села, чего не делала с прошлой осени.

Вечер был из тех первых по-настоящему тёплых, когда воздух к ночи не остывает, и из-за пруда тянуло водой и черёмухой, и на дворе ещё возились: Бернат с двумя работниками перекладывал ту самую кладку в пятом дворе, про которую мне говорили четыре дня.

Я сел рядом, и мы посидели молча, и молчать с Маврой легче, чем с кем бы то ни было в этом доме.

— Мальчик мой, ты давеча на подоконник не глядел.

— Мавра, я глядел. Медяк на месте.

— Медяк-то на месте, — произнесла она. — Я тебе не про медяк. Я тебе про то, что ты мимо кухни ходишь и в окно не смотришь, а раньше смотрел.

Она поправила платок.

— Ты не думай, я не в укор. Я к тому, что ты нынче весь в новом звере и в новой дыре. А старое-то тоже надо навещать, хоть его и нет.

Ночью я пошёл в карантинный двор.

Пошёл я туда, честно говоря, не проверять, а потому, что не мог спать третью ночь и потому, что в доме, где нет дракона, ночью не с кем было поговорить.

Он не спал. Он ходил по клетке своим коротким кругом — шесть шагов, поворот, шесть шагов, — и ходил ровно, как ходит здоровый зверь, и это было первое хорошее знамение, что я увидел за четыре дня. Я сел на землю у решётки, спиной к столбу, и просидел так с четверть часа, ничего не делая.

А потом потянулся.

Он был один, и он был слабый, и он был тот самый. Я это понял сразу без всякого сомнения, хотя объяснить до сих пор не могу: то, что шло из него, было той же породы, что тот гул из чаши. Как один голос из хора, который ты слышал издали. Только хор был огромный, тёплый и старый, а этот был маленький, и в нём было холодно.

Я сидел и продолжал слушать, и он вдруг, остановился посреди своего круга и повернул ко мне морду.

И тогда он сделал то, чего я за девять лет не видел ни от одного зверя: он подошёл к решётке, сел с той стороны вплотную и стал ждать.

Не корма и не чтоб его выпустили.

Он сидел и ждал, пока я не уйду первым, и я сидел, пока не рассвело. И ощущения от произошедшего, были у меня довольно странными.

* * *

Свод я заполнил утром, при Илмете, который принёс мне вторую книгу двадцать второй и стоял, пока я писал.

«Девятнадцатое мая шестьсот сорок девятого года.

Наблюдалось: особь, поступившая пятнадцатого мая из Кальтена (лист девятый, изъятие при балагане Хорста, Верхний Вельн), от восемнадцати кормов отказалась, приняла грибницу из-под валежника второго года. Съедено за раз около ведра. Выбирает нити, перегной оставляет.

Кем: держатель, работник Гуш, Илария тен Овеск, Илмет из Стеклоанной степи.

Когда: с пятнадцатого по девятнадцатое мая.

Моё мнение: вид не установлен. Особь одна, и парой ей никто не будет.

Заметить: запах из короба и запах из чаши четвёртого камня — один.

Заметить второе: грибницы в ольшанике на девять дней».

А ниже я приписал то, что не относится ни к одной графе и что я всё-таки приписал.

«Он оттуда. И он не первый, кого оттуда достали».

Глава 3

Сруб мы заложили двадцатого мая, и восемь дней после этого в Урочище не делалось ничего, кроме него.

Бернат выбрал место сам, не спросив ни меня, ни Гуша: северный склон за третьим двором, тот, где у нас двести лет ничего не росло, потому что там глина и вода стоит до июня. Он сказал, что вода нам и нужна, а глина нужна вдвое больше, и что всякий, кто ставит такую вещь на сухом, потом ходит и поливает, и делает это он неровно, и оттого у него всё пропадает на второй год. Копали мы вчетвером, и я копал вместе со всеми, потому что четверых у нас не было — было трое и я.

Работа эта оказалась из тех, за которой я был благодарен.

Восемь дней я вставал в пятом часу, шёл на склон и до темноты таскал ольху, подрубал венцы под руку Берната и засыпал глиной пазы, и за все эти дни ни разу не подумал ни про палату, ни про чаши, ни про то, что меня рассмотрели в темноте. А думал я про то, что у меня стёрта ладонь и что второй венец с северного угла сел на палец ниже, чем надо.

— Барон, вы бревно не так держите.

— Бернат, я его держу восьмой день одинаково.

— Восьмой день одинаково неправильно, — не принял он и перехватил комель. — Вы его держите как мешок, оттого у вас спина и болит. Его держат от себя, а не на себе.

Закончили мы двадцать восьмого, и в тот же вечер Бернат провёл приёмку своей работы сам, при мне и при Гуше.

Он влез внутрь с фонарём, просидел там четверть часа, вылез, обошёл сруб снаружи, постучал по засыпке черенком в шести местах и только после этого сел на землю и позволил себе закурить.

— Барон, она стоит.

— Бернат, а как мы узнаем, что она работает?

— По духу, — доложил он. — Барон, вы через месяц откройте крышку и суньте туда голову. Ежели пахнет кислым — я дурак и переделываю за свой счёт. Ежели пахнет как в вашем ольшанике, только сильнее, — значит, пошло.

Он выбил трубку о каблук.

— И вы, барон, крышку раньше чем через месяц не открывайте. Я вас знаю. Вы полезете на третий день.

Мокрым его назвал Гуш, и назвал он его не при мне, а при Тильде, и она в тот же день внесла имя в свой лист, и оттуда оно пошло по всему двору за сутки.

Я про это узнал последним и узнал из книги.

Илмет принёс мне приёмную на подпись, и в девятой строке, там, где второй месяц стояло «вид не установлен, особь одна», было приписано его рукой: «кличка Мокрый, дана работником Гушем двадцать девятого мая».

— Илмет, ты почему вписал без меня?

— Оттого, что в прошлый раз мы вписали после смерти, — ответил он. — Господин, у пеплогрива имя было двадцать два года, а в книге появилось в тот вечер, когда его закопали. Я решил, что второй раз так не будет.

* * *

К началу июня Мокрый ходил, ел и набирал.

Он брал по трети ведра в день, съедал это за один раз ближе к ночи, а днём спал, зарывшись в подстилку так, что наружу торчала только спина. Илария осмотрела его на восьмой день

и сказала, что у него сходят с когтей отслоения и что под ними растёт новая рогамица, и что зверь, у которого растут когти, уже другой зверь.

Тильдин круг при этом никуда не делся.

Он ходил по клетке всё те же шесть шагов, поворачивал, шёл обратно — и всякий раз, начиная круг, поворачивался в одну и ту же сторону, и сторона эта была не связана ни с кормушкой, ни с дверцей, ни с тем, где сидит человек.

— Господин, я поставил опыт и прошу разрешения задним числом.

— Илмет, что ты сделал?

— Я повернул клетку, — доложил он. — Господин, мы с дядей Гушем подняли её на слезах и развернули на четверть, вместе с подстилкой и с кормушкой, чтобы ему ничего не менять. Сделали это, пока он спал.

— Илмет, и что он?

— А он к вечеру встал и пошёл по-старому, — уточнил Илмет. — Господин, клетка повернута, а круг остался на месте. Он его ведёт не по клетке.

Проверяли мы это потом ещё трижды, и трижды выходило одно.

Днём мы думали на солнце, и Тильда даже завела себе отдельный лист, где записывала час и тень, но на четвёртую ночь я пришёл в карантинный двор с фонарём в третьем часу, когда небо было закрыто наглухо и в воздухе висела морось, и он ходил тот же круг и начинал его с той же стороны.

Тогда Илмет взял у Берната отвес и плотницкий угольник и промерил, куда смотрит начало круга.

Он мерил два вечера и на третий пришёл ко мне с листом, на котором был вычерчен двор, клетка, круг и линия, продолженная за пределы двора через всю усадьбу.

— Господин, линия у меня вышла на северо-запад.

— Илмет, на прогалину?

— Господин, не на прогалину, — ответил он и придавил лист ладонью. — Прогалина в ту сторону, это верно. Но прогалина в полтора шага шириной, а линия у меня узкая. Я её продолжил и промерил по карте Берната, и она ложится не на прогалину.

Он поднял голову.

— Она ложится на четвёртый камень.

Осмотр чаш по новому порядку мы произвели впервые пятого июня, и произвели его вчетвером, с листом.

Порядок этот я перечитал перед выходом дважды и всё равно чувствовал себя глупо: нам предписывалось дойти до камня, посмотреть на него, ничего не трогать и составить об этом отдельную бумагу, а бумаге полагалось быть подписанной держателем и двумя свидетелями. Бернат, которому я это объяснил по дороге, слушал и мрачнел.

— Барон, а руку в неё сунуть нельзя?

— Бернат, руку нельзя. Осмотр производится глазами.

— Глазами, — повторил он и сплюнул. — Барон, я сорок лет камень кладу и вам вот что скажу. Камень глазами не смотрят. Камень шупают, стучат по нему и слушают, и всё, что про него можно узнать, узнаётся ладонью. А глазами на него глядят те, кто пишет бумаги.

У четвёртого мы простояли полчаса и не притронулись ни к чему.

Трава вокруг подножия за месяц поднялась выше колена и стояла плотным кругом шагов в пять поперёк, и круг этот был виден теперь издали, потому что вся остальная прогалина в июне выгорела и пожелтела. Над чашей в полуденном свете ничего не было видно, а к вечеру,

когда воздух стал холоднее, пар опять сделался различим, и Илмет отметил час, когда он проступил, и час, когда стал виден с десяти шагов.

Тильда, которую я взял вторым свидетелем, писала свой лист отдельно от нашего и стоя.

— Господин барон, у меня вопрос не по осмотру.

— Тильда, задавай, я его в лист не внесу.

— Почему трава кругом, а не полосой? — спросила она. — Господин барон, ежели из чаши идёт тепло, оно должно идти вверх и сносить ветром, и трава должна расти хвостом, куда сносит. А она кругом, ровно.

Бернат за моей спиной хмыкнул.

— Барышня, а оттого и кругом, что греет не чаша, — отозвался он. — Греет то, что под ней.

Лист мы составили тем же вечером, и составили его на четверть листа, и подписали втроём.

Написано в нём было следующее: осмотр произведён пятого июня с четвёртого часа пополудни до шестого; чаша не открывалась, к камню никто не прикасался; изменений против записи от второго мая — трава вокруг подножия поднялась, круг шириной пять шагов, границы резкие; пар из чаши проступает при остывании воздуха, от девятого часа вечера.

Гретхен переписала это набело, подшила и поставила сверху номер первый.

— Господин барон, я завела дело.

— Гретхен, какое ещё дело?

— «Осмотры чаш», — уточнила Гретхен Веккель. — Господин барон, до августа их будет шесть. Я вам это говорю, чтобы вы не удивлялись, когда в него нечего станет писать. Порядок затем и придуман, чтобы вы шесть раз сходили и шесть раз написали, что ничего не было.

* * *

Письмо от Ортвейла пришло второго июня, и было оно в четыре строки.

«Барон. Ваше от шестого мая получил четырнадцатого. Обеих чаш не касаться, ничего при них не делать, затычки хранить порознь и не мыть. Выезжаю. Д. Ортвейл».

Гретхен прочитала и подняла брови, чего за ней почти не водилось.

— Господин барон, тут не хватает половины письма.

— Гретхен, тут не хватает всего письма. Тут четыре строки.

— Я не про длину, — не приняла она. — Господин барон, он вам не написал, когда выезжает и надолго ли, и не написал, один ли. А он человек порядка: у него в феврале в каждой бумаге стояло число.

Она перечитала лист ещё раз.

— И вот ещё что. «Не мыть» — это он написал не вам. Это он себе написал и переписал в письмо, потому что боялся забыть.

Казённый ответ из палаты пришёл на другой день, и он был длиннее в двадцать раз и хуже во столько же.

Заявление принято. Освидетельствование назначено, но не ранее августа, потому что в летние месяцы комиссии заняты на действующих переходах, а действующих шесть, и они старше по очереди. До освидетельствования держателю вменяется: чаш не касаться, при чашах не работать, к чашам никого не допускать, осмотр производить не чаще одного раза в десять дней и составлять о каждом осмотре отдельный лист.

И последним пунктом — то, ради чего, как я думаю теперь, всё это и писалось: дело расписано на две части. Чаши как таковые — по отделу внештатных переходов. Порча чаш и всё, что к ней, — по казначейской части.

— Мартин, объясните мне эту расписку, потому что я её не понимаю.

— Барон, это плохо и хорошо одновременно, — доложил Мартин Веккель. — Плохо оттого, что у вас теперь два хозяина вместо одного, и всякую бумагу вы будете подавать дважды, а они будут ссылаться друг на друга. У нас в отделе так волокитили годами.

— Мартин, а хорошее где?

— Хорошее в том, кто сидит в казначейской, — ответил он. — Барон, порча чаш ушла к Гербольту. К тому самому Гербольту, который у вас в позапрошлом году сидел на кухне и грел руки в миске.

Письмо Гербольту я писал сам и писал его четыре раза.

Трудность была не в том, что сказать, а в том, что мы с ним за два года ни разу не написали друг другу ничего, кроме казённого, и я не знал, имею ли я право на другое. Кончилось тем, что я написал на одном листе казённое — уведомление, как положено, с числами и с перечнем, — а на втором листе три строки от руки и вложил оба в один пакет.

Во втором было: «Аскель, дело о порче расписали вам. Я этому рад и понимаю, что радоваться мне рано. Скажите прямо: мне вас спрашивать как держателю магистра или как одному человеку другого?»

Ответ пришёл через две недели и тоже на двух листах.

Казённый был безупречен и холоден. А на втором стояло четыре слова: «Спрашивайте как хотите. Отвечать буду как магистр».

— Господин барон, он вам отказал?

— Гретхен, он мне ответил честно, и это не одно и то же.

— Это одно и то же, покуда он в казначейской, — уточнила Гретхен Веккель и подшила оба листа в разные дела. — Господин барон, я три года пишу ваши бумаги и вижу, чем это кончается. Вы ему напишете по-человечески ещё раз пять, а он пять раз ответит как магистр, и на шестой вы перестанете. И вот тогда, я не знаю как будет дальше.

Мавра в те дни взяла себе новое занятие и никому про него не сказала.

Я обнаружил это случайно: пошёл в карантинный двор в одиннадцатом часу и увидел, что у третьей клетки на перевёрнутом ведре сидит домоправительница восьмидесяти с лишним лет, в шали поверх ночного, и вяжет.

— Мавра, вы-то что тут делаете?

— Сижу, — ответила она, не поднимая глаз от спиц. — Мальчик мой, он один. У вас там во дворах по восемь да по двенадцать, а он один и по-нашему не понимает.

— Мавра, он и по-вашему не понимает.

— Он понимает, что кто-то сидит, — уточнила она. — Ты вот знаешь, отчего я двенадцать лет лампу ставила? Не затем, чтоб он вошёл. Затем, чтоб он видел, что в доме не спят.

* * *

Пим в начале июня получил своих двоих и распорядился ими не так, как я думал.

Я полагал, он посадит Тильду и Кемпа разбирать младших, а он сделал обратное: посадил младших разбирать лист Тильды. Лист был тот самый, про круг против солнца, и Пим прочёл его вслух, не назвав автора, и велел классу искать, где наблюдение, а где мнение, и класс нашёл четыре места и ошибся в двух.

Я стоял в дверях зимовника и слушал.

— Господин барон, вы вошли, и они теперь будут говорить для вас.

— Пим, я постою тихо.

— Тихо тут не выходит, — не принял он и вышел ко мне в проход. — Барон, вы девять лет не понимаете одной вещи: когда вы входите, дети перестают думать и начинают отвечать. Так устроено, потому что вы хозяин.

— Пим, а что же мне делать?

— Приходите до начала и садитесь сзади, — доложил Пим. — Барон, вас тогда через четверть часа перестают замечать. Я это проверял на себе.

Ушёл я всё-таки не сразу и услышал конец разбора.

Кончился он тем, что младший из учеников, которому тринадцатый год и который у нас второй месяц, поднял руку и спросил, отчего наблюдатель не проверил, ходит ли зверь кругом в темноте. В зимовнике стало тихо, потому что это был ровно тот вопрос, до которого мы с Илметом дошли на четвёртые сутки и который стоил мне ночи с фонарём.

Тильда встала со своего места и ответила сама, нарушив второй раз за месяц заведённый порядок.

— Проверил. Я и проверила, это мой лист.

— Барышня, вам слова не давали, — не принял Пим.

— Я знаю, — подтвердила она. — Только, господин Пим, ежели я смолчу, он год будет думать, что нашёл дырку. А он её не нашёл, и пусть лучше злится на меня, чем гордится зря.

В Верхний Вельн решили ехать в середине июня, и решали мы это дольше, чем следовало.

Ехать надо было двоим: одному — читать бумаги, второму — смотреть зверя, ежели найдётся ещё. Мартин годился в первые бесспорно, а во вторые у меня был только Илмет, а Илмета отпускать на три недели в июне означало остановить приёмную книгу, потому что второго такого писца в Урочище нет и не будет, покуда не вырастет Тильда.

— Барон, я поеду один и справлюсь.

— Мартин, вы не отличите нашего зверя от чужого.

— Не отличу, — подтвердил он. — Барон, я и не буду отличать. Я поеду не за зверем. Я поеду за тем, кто одиннадцать лет возит балаган и у кого дважды изымали бумаги, а не зверей. Такого человека находят в приказе, а не в клетке.

Гретхен, слушавшая молча, положила перо.

— Господин барон, отпускайте его, — отозвалась она. — Он прав, и я вам скажу, почему прав. Зверя вы всё равно не купите: он изъятый, и всякий второй такой в королевстве уже под изъятием. А человека можно спросить.

Мартин выехал шестнадцатого июня, с почтой до Кальтена и дальше подводами.

Я дал ему сорок золотых, из которых тридцать были на выкуп, ежели придётся выкупать, и Гретхен переписала эти тридцать в отдельную графу и заставила меня подписать, что я знаю, что делаю. Илмет собрал ему в дорогу тетрадь с четырьмя графами и объяснял ему полчаса, как ею пользоваться, и Мартин слушал стоя, как слушает всё.

Уезжая, он сказал мне с телеги одну фразу, которую я потом вспоминал всё лето.

— Барон, ежели я найду того, кто его кормил, — я вам с дороги не напишу.

— Мартин, отчего же?

— Оттого, барон, что письма читают, — доложил Мартин Веккель. — Я одиннадцать лет их подшивал.

Фойт привёз недовезённое двадцатого числа и привёз с походом, на полвоза больше уговорённого.

Он сгрузил всё сам, отказался от помощи, отказался от денег сверх условленного и сел на облучок с тем видом, с каким люди садятся, чтобы сказать главное.

— Барон, у братьев были.

— Фойт, кто был у братьев?

— А приезжали двое, в коляске, — доложил он. — Барон, вежливые. Пили чай, про покос говорили. И уехали, ничего не предложив.

— Фойт, совсем ничего?

— Совсем, — подтвердил он и почесал бороду. — Барон, я потому и говорю. Ежели бы предложили — это торг. А они приехали поглядеть, как люди живут, и уехали. Я такое видал один раз, когда у нас в Овеськах мельницу перекупали. Тогда тоже сперва чай пили.

Двадцатого июня я опять пошёл ночью к третьей клетке и опять потянулся.

Делать этого не следовало, и я знал, что не нужно: после первого раза у меня три дня болела голова так, как не болела никогда в той жизни и не болела в этой, и Илария, посмотрев на меня на второй день, велела спать и не спорить, а я соврал ей про бессонницу.

Но в тот вечер Илмет показал мне свою линию на четвёртый камень, и я не выдержал.

Я сел у решётки, положил ладони на землю — не на прутья, а именно на землю, потому что так почему-то легче и пошёл вниз и вбок, туда, где он.

И нашёл я его сразу.

...

В этот раз я держал его дольше и держал нарочно, и он это заметил.

Он перестал ходить, сел, повернул ко мне свою лопатообразную морду и повёл ею — не слева направо, как водил в коробе, а сверху вниз, медленно, будто отмерял. И пока он это делал, во мне открылось то, чего я за девять лет не получал ни от одного зверя: не боль, не голод, не страх, а направление.

Оно было простое и не имело слов: туда.

Не «там еда» и не «там дом». Просто вот это «туда», и было на северо-запад.

Я держал это, наверное, с минуту.

Потом свет фонаря у меня раздвоился, и решётка накренилась, и я понял, что сижу на земле боком и что земля холодная, а рука у меня в чём-то мокром.

* * *

Очнулся я оттого, что меня трясли за плечо, и тряс меня Гуш.

По его словам, он вышел в третьем часу к дворам, потому что ему не спалось, увидел у карантина непогашенный фонарь и человека на земле и решил сперва, что это кто-то из работников напился. Пролежал я там, по его счёту, не меньше получаса, и было это видно по росе.

Кровь шла носом, и рубаха у меня была в ней спереди вся.

— Господин, вставать можете?

— Гуш, могу, только не сразу.

— Тогда не вставайте, — не принял он и сел рядом на корточки. — Господин, я вас в дом не понесу. Я вас тут посижу, куда сами не встанете, и Иларии не скажу.

— Гуш, почему не скажешь?

— Оттого что вы меня попросите, — доложил он. — Господин, я вас девять лет знаю. Вы сейчас отдышитесь и попросите, и я соглашусь, и потом мне будет стыдно. Так уж лучше я сразу соглашусь и стыдиться буду с начала.

Он отвёл меня в дом в четвёртом часу, и я проспал до полудня второй раз за месяц.

Просыпаться было скверно: голова не болела, а гудела, и весь день у меня двоилось на краю зрения, и всякий раз, поворачиваясь, я на долю секунды не понимал куда именно я смотрю. Я не сказал никому, и Гуш не сказал никому, и мы оба весь день делали вид, что ничего не произошло и оба понимали что рано или поздно, все-равно все раскроется.

Записал я это в свод честно, потому что свод — единственное место, где я не врал.

«Двадцать первое июня шестьсот сорок девятого года.

Наблюдалось: держатель тянулся к особи девятой строки (Мокрый) вторично. Получено направление — северо-запад, без образа и без нужды. Удержано около минуты. После — обморок, кровь носом, лежал не менее получаса.

Кем: держатель, работник Гуш.

Когда: с третьего часа пополуночи.

Моё мнение: девять лет это ничего мне не стоило. Нынче стоило.

Заметить: направление совпало с линией Илмета на четвёртый камень с точностью, которую я проверить не могу и потому не записываю в первую графу».

* * *

Ортвейл приехал на закате двадцать второго июня, один, верхом, без писца и без поклажи, кроме сумки через плечо.

Лошадь под ним была не его, наёмная, и шла она шагом, и по тому, как он слез, было видно, что он в седле вторые сутки. Он снял шляпу, поздоровался с Гушем за руку, как здороваются со знакомым, поднялся на крыльцо и остановился. Я вышел ему навстречу, и мы постояли с ним друг против друга молча дольше, чем стоило бы.

— Барон, я вам сперва скажу словами.

— Магистр, вы с дороги. Сперва в дом.

— В дом я зайду, — ответил он и не двинулся с места. — Барон, я не про то. Я хочу, чтобы вы знали это на крыльце, покуда мы не сели за стол и не начали быть любезными.

Он переложил сумку с плеча на локоть.

— Ваше письмо я получил четырнадцатого мая в Кальтене. А выехал я из столицы пятого. За девять дней до того, барон, как оно могло до меня прийти.

Глава 4

Я на это ответил не сразу и ответил не то, что думал.

— Магистр, у вас лошадь стоит.

— Лошадь постоит, — не принял он.

— Лошадь не постоит, она в мыле, — уточнил я и позвал Гуша. — Магистр Ортвейл, я вас услышал и обдумаю это за ужином. А куда вы пойдёте в дом, потому что у меня в доме человека с дороги слушают после того, как накормят, а не до.

Он посмотрел на меня, на Гуша, забиравшего повод, и сдался.

* * *

Мавра кормила его на кухне и делала это молча, что у неё означает высшую степень внимания.

Она поставила перед ним щи, потом кашу, потом убрала кашу, не дав доесть, и принесла молока, и на его попытку возразить не ответила вовсе. Ортвейл в феврале провёл у нас шесть дней и за шесть дней съел у неё, по её же счёту, «как воробей», и она это помнила, и весь дом это знал.

Он ел и оглядывал кухню, и по лицу его было видно, что он отмечает перемены: и новую полку у двери, и то, что за столом нынче сидит на два человека больше, и то, что подоконник со стороны двора чисто вымыт, а на нём ничего не стоит.

— Барон, у вас в феврале на подоконнике лежал медяк.

— Магистр, он и сейчас лежит.

— Лежит, — согласился он и отодвинул кружку. — Барон, в феврале при нём был дракон, а нынче дракона нет, и я про это в вашем заявлении не прочёл ни строки. Вы мне про две чаши написали, а про то, что у вас в доме стало на одного меньше, — нет.

Мавра забрала у него кружку и налила снова.

— Кушайте, — велела она. — А про дракона потом.

В кабинет мы поднялись в одиннадцатом часу, и он первым делом развязал сумку и стал выкладывать на стол.

Выложил он две затычки, обёрнутые каждая в отдельную тряпицу, семь листов, свёрнутых в трубку, и плоскую коробку с чем-то вроде аптекарских весов, только грубее. Разложив всё это, он сел и с полминуты смотрел на стол, и я видел, что он собирается, как собирается человек, которому предстоит говорить долго и по порядку.

— Барон, я начну с конца, потому что так вам будет понятнее.

— Магистр, начинайте откуда хотите.

— С конца, — повторил он и развернул первый лист. — Барон, у меня список чаш, заткнувших осколком чужой породы. В нём восемьдесят восемь мест, и я его составил не сам. Я его нашёл.

— И семь из них помечены, — отозвался я.

Он поднял голову от листа.

— Магистр, и помечены они рукой мёртвого человека, — договорил я. — И седьмая из семи лежит у меня в полутора верстах, на прогалине, четвёртая по счёту.

* * *

Ортвейл положил лист и с полминуты ничего не говорил.

Потом он сделал то, чего я не ждал: встал, обошёл стол, сел рядом со мной с той стороны, где лежали его собственные бумаги, и заговорил тихо и очень отчётливо, как говорят, когда боятся сбиться.

— Барон, я это искал четыре года. Я нашёл этот лист в марте, в чужом деле, случайно, и с тех пор ни одному человеку его не показывал. Откуда у вас число?

— Магистр, мне его называли тринадцатого апреля.

— Барон, кто вам его назвал?

— Ксаверий Аргентум Третий, — отозвался я. — Дракон, который прожил в этом доме сто десять лет и в ту ночь ушёл отсюда через нижнюю чашу.

Он не переспросил, и вот это было самое скверное.

Человек, которому пятьдесят три года, который четыре года ищет и которому только что сказали, что искомое ему сообщил бы дракон, если бы он вовремя спросил — этот человек сидел рядом со мной и молчал, и по лицу его было видно, что он в это верит целиком и сразу.

— Барон, а он сказал, кто их затыкал?

— Не сказал, — покачал я головой. — Он сказал: не трогай их, покуда не поймёшь, кто их затыкал.

— Стало быть, не знал и он, — ответил Ортвейл. — Барон, вы понимаете, что вы мне сейчас дали и чего не дали? Вы мне подтвердили мой список. Я четыре года не был уверен, что он полный, и всякий раз думал: а вдруг тут не все. А нынче я знаю, что их ровно восемьдесят восемь, потому что это же число назвал тот, кто сидел у этого перекрёстка сто десять лет.

Он побарабанил пальцами по столу.

— И я нынче знаю, что подать это не могу. Барон, я не понесу в палату бумагу, в которой написано «со слов дракона».

Вот на этом мы с ним и сошлись, и сошлись в ту же минуту.

Я ему за девятнадцать дней до того говорил Бернату почти то же самое: что у меня есть знание и нет ничего, что можно взять в руки. А у него было наоборот — лист, найденный в чужом деле, без номера и не по описи, и всякий в палате мог сказать, что лист этот подложен кем угодно и когда угодно.

— Магистр, стало быть, у нас двое свидетелей, и оба не годятся.

— Годятся, барон, — ответил он и постучал по листу. — Поодиночке не годится ни один. А вместе — это уже сходимость, и она стоит дороже обоих. Вам дракон назвал число, а я его нашёл на бумаге, и мы с вами до нынешнего вечера друг о друге не знали.

Он наконец развернул лист ко мне.

— И вот теперь, барон, я вам его покажу, и вы мне покажете то место, где стоит ваша чаша, и я погляжу, в ту ли строку вы ткнёте.

* * *

Список он нашёл в марте, в деле, которое к чашам не имело никакого отношения.

Дело это было о невыплате прогонных за шестьсот двадцатые годы, толщиной в ладонь, и в него был подшит посторонний лист — не по описи, без номера, попавший туда, как попадает всё лишнее: кто-то сунул и забыл. На листе в два столбца шли номера камней, уезды и даты, и против семи строк стояли пометки, а всё прочее было голым перечнем.

Он показал мне эти семь строк, и я увидел почерк прежде, чем разобрал слова.

— Магистр, это рука Веккеля.

— Это рука Веккеля. Барон, я вас проверял и на этом, и вы не обижайтесь: вы мне четверть часа назад называли число, которого знать не могли, и я после такого проверяю всё.

— Магистр, я её третий год вижу каждый день.

— Вот и я про то, — не принял он. — Барон, мне это имя ничего не говорило четыре месяца. А у вас в доме сидит его дочь и служит его писарь, и вы эту руку узнаете, не думая. Я потому к вам и еду, а не пишу.

Седьмую строку я нашёл сам и нашёл её с первого раза, потому что искал именно её.

«Реннельский перекрёсток, чаша четвёртая» — а дальше стояло то, чего мне не говорили ни в апреле, ни после, и чего дракон, по всему, не знал и сам: пометка в три слова, которых я не понял, а Ортвейл, по его словам, не понимал четвёртый месяц.

«Оставить, куда дышит».

Я сидел и смотрел на эту строку, и до меня доходило медленно, как доходит всё важное. Веккель знал про четвёртый камень.

Он знал про него настолько подробно, что счёл нужным пометить, и пометил не «закрывать» и не «проверить», а «оставить», и приписал условие, и условие это было про дыхание, а из чаши четвёртого камня шёл тёплый влажный воздух, и тот, кто хоть раз держал над ней ладонь, назвал бы это именно так.

— Магистр, а даты в списке есть?

— В списке есть. Против вашей строки — шестьсот двадцать четвёртый год.

* * *

Свои две затычки я принёс из сундука и положил рядом с его двумя. Стало их на столе четыре: две его, с Ольмерского и с Верхневельнского перекрёстков, вынутые им в позапрошлую и прошлую зиму, наша ночная, выбитая изнутри двадцать второй, и та, что Бернат вынул из четвёртого.

Ортвейл разложил их в ряд, повернул все одной гранью кверху и подвинул свечу.

— Барон, посмотрите и скажите, что видите.

— Магистр, я вижу четыре обточенных камня.

— Смотрите на грань, а не на камень, — произнес он. — Барон, на трёх из четырёх грань наведена в одну сторону, длинными движениями, с нажимом к концу. А на четвёртой — короткими и впережёлст.

Я смотрел на это, наверное, минуту и ничего не увидел, и он это понял и не стал меня жалеть.

— Барон, вы зоолог, а не каменщик. Зовите каменщика.

Берната подняли из дому в первом часу ночи, и он пришёл в чём был, ворча всю дорогу, и ворчал он ровно до того мгновения, как увидел стол.

Дальше он замолчал на четверть часа. Он брал их по одной, поворачивал к свече, вёл по грани большим пальцем, ставил обратно и брал следующую, и прошёл так весь ряд трижды, и на третьем заходе переложил их в другом порядке, не спросив ни у кого позволения.

— Господа, тут две руки.

— Бернат, вы уверены? — уточнил Ортвейл.

— Уверен, — ответил он и постучал по трём. — Вот эти три делал один человек, и делал он их правильно: тянул от себя, долго, и грань выводил начисто. А эту делал другой, и делал он её торопясь, и я вам больше скажу.

Он поднял четвёртую — ту, что из нашего четвёртого камня.

— Эту делал тот, кто у первого учился и не доучился.

* * *

Ортвейл после этого сел и долго молчал, и Бернат, постояв, ушёл спать, и мы остались вдвоём.

Свеча была одна, и от неё на стене ходили тени четырёх камней, и я поймал себя на том, что сижу и считаю их, будто от счёта что-нибудь переменится. За девять лет я выучил, что считаю всегда, когда боюсь: считаю головы, бочки, дни до ледостава, ступени в подвал, и что счёт меня успокаивает ровно до той минуты, пока не сходится.

— Магистр, скажите мне одно. Вы за четыре года шесть чаш открыли. Из скольких вышло?

— Из двух чаш из шести.

— Магистр, а что вышло?

— Из первой воздух, сухой, холодный, с песком, и шёл он двое суток, а потом перестал. А из второй, барон, вышли звери, и было их тринадцать, и это случилось в Верхнем Вельне в позапрошлом феврале.

Я встал и подошёл к окну, потому что сидеть не мог.

В окне была июньская ночь, светлая на четверть, и на дворе у карантина горел фонарь, который мы теперь оставляли на ночь. И я стоял и смотрел на этот фонарь и складывал у себя в голове две вещи, которые до этой минуты лежали врозь: тринадцать зверей в Верхнем Вельне в позапрошлом феврале и балаган Хорста в Верхнем Вельне, у которого нашего зверя держали два года.

Два года.

Позапрошлый февраль — это два года и четыре месяца.

— Магистр, а куда делись тринадцать?

— Одиннадцать я сдал в казённую псарню, — ответил он и голос у него не переменялся. — Барон, я их сдал по описи, как положено, и через год запросил, и мне ответили, что из одиннадцати живых нет.

— Магистр, а двое?

— А двоих у меня взяли на месте, — договорил Ортвейл. — По усмотрению изымающего.

К Мокрому мы пошли утром, в шестом часу.

Ночь он, по всему, не спал, и я не спал тоже, и мы дошли до карантина не сказав друг другу ни слова. В карантинном дворе было сыро и тихо, Мокрый лежал в подстилке спиной кверху, и Ортвейл подошёл к решётке, наклонился и с полминуты смотрел, а потом присел на корточки и остался в этом положении дольше, чем это удобно человеку его лет.

— Барон, это он и есть, я его знаю.

— Магистр, вы их видели вблизи?

— Я их видел в феврале позапрошлого года в яме под камнем, тринадцать штук, — доложил он. — Барон, они лезли вверх по отвесной стенке, все разом, и лезли не от меня, а на воздух, и я стоял и держал фонарь и не понимал, что делаю.

Он поднялся, придерживаясь за столб.

— И вот что я вам скажу, барон, покуда мы одни. Я в ту ночь думал, что открываю мёртвую чашу. У меня в бумаге так и написано: мёртвая.

Илмет с Тильдой поймали его в тот же день после обеда и поймали в четыре руки.

Они караулили его у зимовника с листом и с угольником, и когда он вышел, Илмет заступил ему дорогу и заговорил прежде, чем тот успел поздороваться, и говорил он быстро, что с ним бывает, только когда он боится, что не дадут договорить.

— Магистр, я вам покажу счёт, а вы скажите, где я ошибся.

— Молодой человек, я не считаю чужих счётов с дороги.

— Вы третий день не с дороги, — не принял Илмет и развернул лист прямо у него на весу. — Магистр, вот двор, вот клетка, вот круг. Зверь ходит шесть шагов, поворачивает и начинает всегда с одной стороны. Клетку мы вертели, ночь была глухая, тени не было. Он держит направление, и направление у меня выходит на четвёртый камень.

Ортвейл взял лист двумя руками и замолчал.

Он стоял с этим листом посреди двора, наверное, минуты три, и за эти три минуты я увидел, как из него уходит следователь и остаётся человек.

Потом он поднял голову и задал вопрос, которого не задал никто из нас за месяц.

— Молодой человек, а вы линию в другую сторону продолжали?

— Магистр, в какую другую? — не понял Илмет.

— Назад, — отозвался Ортвейл и повернул лист. — Вы её ведёте от клетки на северо-запад и упираете в камень. А проведите её от клетки на юго-восток и посмотрите, куда она уйдёт, потому что зверь, который держит направление, держит ось, а у оси два конца.

Тильда первой поняла, что он сказал, и первой полезла за карандашом.

— Господин барон, у нас за юго-восток ничего нет. Там вырубка, потом Кальцы, потом дорога на Кальтен.

— Барышня, дальше, — не принял Ортвейл. — За Кальтеном Верхний Вельн. А в Верхнем Вельне два года стоял балаган.

* * *

Мерили они это до темноты и намерили то, чего я боялся и чему не поверил. Карты у Берната уездные и грубые, и на таких не меряют, и Илмет честно записал в четвёртой графе, что точность у него «в полверсты на каждые десять», и ещё честнее приписал, что на таком расстоянии полверсты на десять — это не измерение, а гадание. Но линия, проведённая от клетки на юго-восток и продолженная за край карты, ложилась в сторону Верхнего Вельна и не ложилась в сторону Кальтена, где зверя держали последние два месяца перед отправкой.

— Господин, я вам скажу главное, а вы решайте.

— Илмет, говори, я слушаю.

— Он держит не то место, где его кормили, — доложил он. — Господин, его два месяца держали в Кальтене, а он Кальтен не держит. Он держит то, где его взяли.

Ортвейл, слушавший стоя, забрал у него лист и сложил его вчетверо.

— Молодой человек, вы это мне отдадите, и я вам его не верну, — уточнил он. — И перепишите себе копию нынче же, потому что если у вас останется один список, вы его когда-нибудь отдадите второй раз.

Илария, которая все эти дни была не в урочище, застала магистра только на третий день.

Она посмотрела на то, как он идёт, и на то, как он садится, и через четверть часа он уже сидел в кухне без сюртука, а она шупала ему поясницу.

— Магистр, вы двое суток верхом ехали?

— Двое с половиной, — ответил он. — Сударыня, я знаю, что скажете. Мне пятьдесят три года.

— Про года я вам ничего не скажу, — отрезала Илария тен Овеск. — Я вам скажу про то, что у вас мышца с левой стороны стоит колом от лопатки до гребня, и что вы третий день сидите боком и думаете, что этого никто не видит. Раздевайтесь до пояса и ложитесь на лавку.

Он поглядел на меня.

— Магистр, здесь это бесполезно, — отозвался я. — Я девять лет пробую.

* * *

Пока она его мяла, он рассказал то, ради чего, я думаю, и ехал.

Он под следствием с двадцать первого марта, и дело завели по донесению своего же, из отдела: за четыре года он вскрыл шесть чаш, и по бумагам все шесть числились мёртвыми, а вскрывать мёртвые чаши магистру внештатных переходов не запрещено, но и не разрешено, потому что порядка на этот счёт нет вовсе. Пока чаши оставались мёртвыми, этого никто не замечал. Как только выяснилось, что две "ожили", — заметили сразу и все.

— Барон, мне вменяют два пункта, и оба справедливые.

— Магистр, назовите.

— Первый: превышение, — доложил он, лёжа лицом вниз. — Второй: сокрытие. Барон, я про тринадцать зверей в рапорте написал, а про то, что двоих взяли на месте и я не воспротивился — не написал. И вот второй пункт меня и утопит.

Илария нажала ему под лопатку, и он замолчал на несколько секунд.

— И потому, барон, ваше заявление от шестого мая я получил четырнадцатого и полчаса сидел над ним в трактире, — договорил Ортвейл. — Потому что оно писано человеком, который сделал ровно то, чего не сделал я.

Гретхен, услышав про следствие, отреагировала не так, как я ждал.

Она не стала сочувствовать и не стала считать. Она сходила за делом «Осмотры чаш», принесла его в кухню и положила перед ним, и лист номер первый лежал сверху.

— Магистр, прочтите и скажите, годится ли.

— Сударыня, это ваш осмотр от пятого июня?

— Это наш осмотр от пятого июня, — подтвердила она. — Магистр, их до августа будет шесть, и все шесть будут о том, что ничего не случилось. Я вас спрашиваю не про них. Я вас спрашиваю, в каком виде это должно лежать, чтобы через год человеку, который станет вас топить, было нечего сказать.

Ортвейл прочёл лист дважды и положил обратно.

— Сударыня, вы дочь Эриха Веккеля.

— Я его дочь, — спокойно ответила она. — Магистр, я три года хожу за бумагами, а перед тем три года ходила за отцом, и я выучила одно: человека губит не то, что он сделал, а то, чего он не записал в тот же день.

Про её отца он заговорил вечером и заговорил сам, чего я от него не ждал.

Сидели мы втроём в кухне — он, Гретхен и я. Была еще Мавра, которая гремела у печи и не уходила, и по тому, как она не уходила, было понятно, что она слушает. Ортвейл повертел кружку, отставил и посмотрел на Гретхен прямо, как смотрят, когда решили не смягчать.

— Сударыня, я вашего отца видел трижды и все три раза по службе.

— Магистр, вы его не любили.

— Я его боялся, — уточнил он. — Сударыня, это разное. Я пришёл в службу в сорок три года, из счетоводов, и меня приняли из милости, и я одиннадцать лет ходил мимо его двери и знал, что он про меня всё понимает. А потом он умер, и выяснилось, что он двадцать девять лет вёл тетрадь, которой никому не показывал.

Гретхен сидела очень прямо.

— Магистр, а нынче вы его как понимаете?

— Нынче я понимаю, что он делал то же, что я, — договорил Ортвейл. — Только он делал это один и не оставил после себя ни единого человека, который мог бы продолжить. Сударыня, я оттого и езжу по домам, где есть кому рассказывать. Я не хочу закончить свою жизнь, как тетрадь.

* * *

Мавра на это обернулась от печи и вмешалась без спроса, как вмешивается всегда, когда речь заходит про мёртвых.

— А вы, сударь, много ли ей рассказали?

— Хозяйка, я рассказал ей то, что знаю.

— Знаете вы мало, — отрезала Мавра и поставила перед ним миску. — Сударь, я тут сорок восемь лет живу и одного человека двадцать два года не пускала на порог, и он двадцать два года ходил и глядел в окно. Вот он тоже всё в одиночку делал и думал, что бережёт. А сберёг он то, что помер в чужой горнице, и сидела при нём я, а не сын.

Она вытерла руки о передник.

— Вы, сударь, ешьте и не думайте, что я вас укоряю. Я вам к тому говорю, что у вас лицо такое же было, как у него в последний год.

Ночью он ушёл на прогалину, и ушёл он, полагая, что никто не видит.

Видел его Гуш, который после того случая со мной взял себе за правило обходить дворы в третьем часу, и он же и разбудил меня. Я оделся и пошёл следом, и догнал его уже у ольшаника.

Он шёл с фонарём и шёл медленно, придерживая спину.

— Магистр, вы туда один не дойдёте.

— Барон, я дойду, — не принял он и остановился. — Я не дойду обратно, это верно.

— Магистр, тогда я с вами.

— Барон, вы понимаете, что вы сейчас делаете? — уточнил он и поднял фонарь мне в лицо. — По предписанию вам к чашам нельзя чаще раза в десять дней, а вы были пятого. Нынче двадцать шестое, и это второй раз, и он у вас в дело не попадёт.

Я на это ответил ему то, что думал, и ответил не сразу.

Мы стояли в ольшанике, где под ногами хлюпало, и комары стояли столбом, и фонарь у него в руке качался, потому что рука дрожала от усталости. Я думал о том, что вот человеку пятьдесят три года, он под следствием по двум справедливым пунктам, он двое с половиной суток трясся в седле и идёт ночью за полторы версты смотреть на камень, к которому ему самому же запрещено подходить.

— Магистр, попадёт. Я его завтра же впишу и подпишу, и вы подпишете вторым.

— Барон, это будет признание в нарушении.

— Это будет лист номер два, — ответил я. — Магистр, Гретхен полчаса назад вам всё объяснила, а вы не послушали.

Он постоял, потом усмехнулся в первый раз за четыре дня, и пошёл дальше.

У четвёртого камня мы просидели до света.

Пар над чашей в ту ночь стоял высокий, в две ладони, и его сносило к ольшанику, и трава в круге была мокрая от росы, а за границей круга — сухая. Ортвейл сел прямо на землю, вытянув ноги, и с полчаса ничего не говорил.

— Барон, я вам скажу, зачем мне это на самом деле, и вы не перебивайте, потому что второй раз я это говорить не стану.

— Магистр, я слушаю.

— У меня был сын, — доложил Ортвейл, глядя на пар. — Он служил при переходе четыре дробь два, смотрителем, и в шестьсот тридцать восьмом году ушёл в него и не вернулся, и переход через сутки погас. Мне сказали, что так не гаснут. Мне это сказали в утешение.

Он помолчал.

— Барон, мне тогда было сорок два года, и я был счетоводом в таможенной части и про камни не знал ничего. Я пошёл в службу в сорок три.

Я сидел рядом с ним и не находил, что сказать, и в конце концов не сказал ничего, и это, кажется, было правильно.

Мы просидели так до четвёртого часа, покада небо не стало серым, и пар над чашей не сделался невидимым, и тогда он встал, отряхнулся и заговорил обыкновенным своим голосом, будто ничего не было.

— Барон, теперь про август, и это последнее, что я вам должен.

Я молча кивнул.

— Комиссию я не поведу, — произнес он. — Меня в неё не включают, потому что я под следствием, и я это знал, когда выезжал. Барон, я к вам ехал не с проверкой. Я ехал посмотреть на седьмую строку своими глазами, покуда мне это ещё можно.

Он поднял сумку.

— А комиссию поведёт человек, который у вас уже бывал.

Имя он назвал на обратной дороге, у самой вырубки, и назвал его так, будто это ничего не значит.

— Комиссию поведёт Марек Хольт.

Я остановился посреди тропы.

— Магистр, Хольт по архивным делам. Он комиссий не водит.

— Он по архивным делам с марта прошлого года, — уточнил Ортвейл. — А с двенадцатого мая он временно исполняет по внештатным переходам, потому что место освободилось, и место это моё. Барон, его не назначали вам назло. Его назначили потому, что он один в палате читает старые дела и не врёт в отчётах.

Он пошёл дальше, а я стоял.

Двенадцатое мая.

То самое число, которым, по бумагам, был отозван запрос о моём освидетельствовании, и я три месяца носил это число в голове, как носят занозу, и вот оно легло вторым слоем на другое, и я не знал, значит это что-нибудь или не значит ровно ничего.

Свод я в то утро заполнил прежде, чем лёг, и заполнил его на два листа.

«Двадцать шестое июня шестьсот сорок девятого года.

Наблюдалось: осмотр чаши четвёртого камня, второй в месяце, произведён без права, с третьего часа пополудни до четвёртого. Пар высотой около двух ладоней, сносило к ольшанику. Граница травяного круга резкая, ширина пять шагов, не переменилась.

Кем: держатель, магистр Д. Ортвейл.

Когда: в ночь на двадцать седьмое июня.

Моё мнение: осмотр произведён с нарушением предписания палаты, о чём настоящим и сообщаю сам.

Заметить: список заткнутых чаш — восемьдесят восемь мест, семь помечены рукой Э. Веккеля. Седьмая помета: Реннельский перекрёсток, чаша четвёртая — оставить, покуда дышит“, год шестьсот двадцать четвёртый.

Заметить второе: затычек четыре, рук две. Три сделаны одной рукой, наша — другой, и, по слову Берната, вторая рука училась у первой».

А под этим я приписал то, чего в своде быть не должно и что я всё-таки приписал.

«Веккель знал про четвёртый камень двадцать пять лет и велел его не трогать, покуда дышит. А тот, кто заткнул его второй рукой, дышать ему не мешал».

* * *

Уехал он двадцать восьмого, в шестом часу утра, и уехал не верхом, а на нашей телеге до Кальцов, потому что Илария сказала ему, что в седло он сядет через неделю и не раньше, а он не стал спорить, чем удивил весь дом.

Перед отъездом он отдал мне один лист. Это была не копия списка — копию он снять не мог и не стал бы, — а выписка из семи помеченных строк, переписанная его рукой, с оговоркой сверху, что подлинник лежит в деле о прогонных за шестьсот двадцатые годы, в казначейской части, и что в описи этого листа нет.

— Барон, спрячьте и не показывайте никому, кроме своих.

— Магистр, а если спросят, откуда?

— Скажете, что от меня, — спокойно ответил он и полез на телегу. — Барон, я под следствием по двум пунктам, и третий меня уже не утопит глубже. А вот вам без этого листа в августе будет нечем говорить.

Последнее он сказал уже с телеги, когда Гуш тронул.

— Барон, одно прошу, и это не по службе.

— Магистр, говорите.

— Не открывайте четвёртую чашу до комиссии, — договорил Ортвейл. — Барон, вам её откроют или не откроют, и это решится без вас. Но ежели вы откроете её сами, то всё, что оттуда выйдет, будет записано на вас одного, и ни ваша Гретхен, ни ваши листы вас не прикроют.

Телега пошла, и он повернулся и добавил громче.

— И покормите его получше. Из тринадцати он, я думаю, последний.

Глава 5

Июль встал сухой и злой, и к десятому числу у нас пересохла верхняя канава, чего не бывало четыре года.

Хозяйство в такое лето живёт не по книге, а по воде: выдержка стоит, приёмка стоит, школа распущена до августа, и все пятнадцать человек с утра до вечера возят бочки, потому что колодец у нас один хороший, второй с песком, а зверю на восемьдесят шесть голов надо столько, сколько людям не надо и в десятую часть. Я в те недели вставал в четвёртом часу и к полудню уже не помнил, что у меня где-то есть кабинет.

И в этом было своё милосердие: думать в такую жару можно только про воду.

— Мальчик мой, ты в кухню заходил третьего дня.

— Мавра, я вчера заходил.

— Ты вчера в дверь заглянул и ушёл, — не приняла она и поставила передо мной кружку. — Садись и пей, и не спорь. Ты у меня третью неделю пьёшь из бочки, как лошадь, а из кружки не пьёшь, и оттого у тебя лицо серое.

* * *

Уведомление о комиссии пришло двенадцатого июля, и было оно короткое и безупречное.

Освидетельствование Реннельского перекрёстка назначено на четырнадцатое августа. Состав: три лица от палаты, одно от казначейской части, писец. Председательствует магистр М. Хольт, временно исполняющий по отделу внештатных переходов. Держателю надлежит обеспечить доступ, постой и людей в помощь, представить журнал обходов за три года, дело осмотров и обе затычки.

Личной приписки не было.

Я перечитал лист трижды, отыскивая её там, где её быть не могло, — на обороте, под сгибом, в углу, — и не нашёл, и Гретхен, наблюдавшая за этим, дала мне довертеть лист до конца и только потом заговорила.

— Господин барон, он вам не приписал нарочно.

— Гретхен, а вы почём знаете?

— Оттого, что он прошлый раз приписал, — ответила она. — В апреле он вам ответил в одну строку своей рукой. А нынче он председатель, и всякая его строка вашей рукой может быть показана. Господин барон, он вас этим бережёт, а не обижает.

Гретхен стала готовить бумаги в тот же день и готовила их месяц.

Журнал обходов за три года — это девять толстых тетрадей, и в них есть места, за которые мне стыдно: две недели в позапрошлом ноябре, когда болел Илмет и обходы писал я сам, писал через день и один раз соврал, поставив обход, которого не делал. Я тогда записал в четвёртой графе, что соврал, и подчеркнул, и так это и лежит, и вот теперь это должно было лечь на стол перед комиссией, которую ведёт человек, отказавшийся смотреть отцовские страницы.

Вытащить этот лист было делом четверти часа.

Я думал об этом два дня.

— Гретхен, сколько всего таких мест?

— Четыре, господин барон.

— Гретхен, а вы их считали заранее?

— Я их считала три года подряд, всякий раз, как подшивала, — уточнила Гретхен Векель. — Господин барон, я их держу отдельным списком, и список этот у меня в голове, а не на бумаге, потому что бумагу можно найти. Скажете вынуть — выну и ни слова не скажу.

— Гретхен, не вынимайте.

— Я и не собиралась, — спокойно ответила она. — Я хотела, чтобы вы это произнесли вслух, потому что в августе вас про эти четыре места спросят, и вы должны будете ответить не мне.

* * *

Готовила она меня к комиссии четыре вечера и готовила так, что я к третьему вечеру начал огрызаться.

Заведено это было просто: она садилась напротив с моими же тетрадями, задавала вопрос тем сухим голосом, каким говорят в палате, и на всякий мой ответ говорила, что в нём лишнее. Лишним оказывалось почти всё. К третьему вечеру я понял, что за девять лет привык объяснять, а объяснение перед комиссией — это подарок тому, кто спрашивает, потому что в объяснении всегда есть за что зацепиться.

— Господин барон, в позапрошлом ноябре у вас в журнале обход за девятнадцатое число, а сторожевой лист за ту ночь не подписан. Отчего?

— Оттого, что Илмет болел, и обход писал я, и девятнадцатого я его не делал, а записал.

— Короче, — не приняла она.

— Гретхен, короче некуда.

— Есть куда, — уточнила Гретхен Веккель. — «Обход не производился, запись сделана мною ошибочно, отмечено в четвёртой графе того же листа». Одиннадцать слов, господин барон, и в них нет ни Илмета, ни его болезни, ни вашей усталости. Потому что если вы назовёте Илмета, они спросят про Илмета.

На четвёртый вечер она задала вопрос, которого я не ждал, и задала его тем же ровным голосом.

— Господин барон, зверь девятой строки двадцать третьего июля находился у чаши четвёртого камня. Кто его туда доставил?

— Гретхен, никто. Он ушёл сам.

— Кто его оттуда увёл?

— Я, — отозвался я и осёкся, потому что понял, куда она ведёт.

— Каким образом? — не приняла она и не подняла глаз от тетради. — Господин барон, вот на этом месте вы должны решить нынче, а не в августе. Потому что у вас есть три ответа. Первый: увели кормом, и это враньё, и его при мне слышали четверо. Второй: не отвечать, и это хуже вранья. А третий, господин барон, вам придётся выговорить вслух, и я не знаю, что будет после.

Гуш пришёл с ольшаника в середине июля и пришёл с пустым ведром.

Он поставил ведро на пол в кухне, сел на лавку и вытянул ноги, и я понял, что дело плохо, потому что Гуш в доме не садится, пока его не посадят.

— Господин, счёт не сходится.

— Гуш, на сколько не сходится?

— На треть, — доложил он. — Господин, мы считали тридцать одно ведро по семи мочажинам. А нынче там сухо, и нити в трухе не белые, а бурые, и он их берёт, но берёт вяло. Я нынче четыре часа ходил и набрал полведра годного.

Он посмотрел на свои руки.

— И вы, господин, не вздумайте велеть брать подчистую. Ежели взять подчистую, то на будущий год не нарастёт вовсе, и тогда мы его не до сентября кормим, а до августа.

Сруб мы открыли первого июля, ровно через месяц, как Бернат и велел.

Собрались на это, не сговариваясь, почти все: Бернат, Гуш, Илмет, Тильда, Гретхен, двое работников и я, — и стояли полукругом, пока Бернат сбивал колышки с верхней крышки, и вид у нас был до того глупый, что Гретхен потом сказала, что нас надо было нарисовать.

Он откинул крышку и первым сунул туда голову, как и обещал.

— Барон, идите нюхайте.

— Бернат, вы сперва скажите, что там, а то я нюхать боюсь.

— Я скажу, когда вы скажете, — не принял он и отступил. — Барон, я сорок лет кладу, и всякий раз, как я говорю первым, потом выходит, что человек мне поверил на слово и сам не поглядел. Лезьте.

Я сунул туда голову и пробыл в темноте с полминуты.

Пахло оттуда тяжело и густо, и это не был кислый запах, которого он боялся, и не был тот сухой дух, каким пахнет обыкновенная поленница: пахло мокрой корой, землёй и чем-то ещё, сладковатым, от чего свербит в носу. По стенке под крышкой шла испарина, и в свете фонаря было видно, что верхний слой ольхи потемнел и осел на палец.

Я вылез, и тут в яму полез Гуш, а за Гушем Тильда, а Илмет полез третьим и остался там дольше всех.

— Господин, я четыре нити нашёл.

— Илмет, ты уверен, что это те самые?

— Я не уверен, и потому пишу «похожи», — доложил он. — Господин, они белые и рвутся так же. Они тонкие, по верхушку, и их четыре на всю закладку. Магистр Бернат говорил про полтора года, и по четырём нитям выходит, что он не соврал.

Бернат на «магистра» только крикнул.

— Барон, вы теперь эту крышку до ноября не трогайте, — велел он. — Всякая гниль не любит, когда на неё глядят. Она как ребёнок: покуда за ней не смотришь, растёт.

Илмет пересчитал всё заново к вечеру и принёс два столбца.

По первому, тому майскому, выходило до середины сентября. По второму — до двадцатых чисел августа, и это при условии, что июль на том и кончится, а если сухо простоит ещё три недели, то до десятого.

Он положил лист и стоял, пока я читал.

— Господин, я вам ещё скажу неприятное.

— Илмет, говори, хуже уже не выйдет.

— Выйдет, — не принял он. — Господин, комиссия четырнадцатого августа. А зверю по худому счёту — до десятого. Они придут и увидят не зверя, а то, что от него осталось.

Рыть он начал девятнадцатого июля, ночью, и к утру у него в углу клетки была яма в две ладони.

Рыл он не под стенкой, как роет всякий, кто хочет уйти, а посередине, прямо вниз, и вынутую землю выталкивал широкими передними лапами назад, ровными порциями, и куча была аккуратная, и в куче не было ни одного камня крупнее ореха, потому что все камни он выбрал и сложил отдельно.

Я стоял над этим и вспоминал подвал.

Двадцать вторая начинала точно так же — сентябрь сорок седьмого, угол загона, и куча, и отобранные камни, и Гуш тогда сказал, что зверь так не роет, и оказался прав на восемь месяцев вперёд.

— Господин, я плиту положу.

— Бернат, а если он под неё пойдёт?

— Под неё он пойдёт, — подтвердил он. — Барон, я вам плиту не затем кладу, чтоб держать. Я её кладу затем, чтоб он рыл в обход, а на обход у него уйдёт втрое, и мы за это время придумаем что делать.

Плиту положили двадцатого, и за два дня он её обошёл, и обошёл он её левой стороной.

Нашли мы это утром двадцать третьего: клетка пустая, подстилка разворочена, и из-под плиты слева уходит ход шириной в ладонь, и ход этот кончался снаружи, у столба, и дальше по сухой земле не читалось ничего.

Подняли весь двор.

Гуш взял с собой двоих и пошёл смотреть след по канаве, где земля мягче, я пошёл к прудам, Тильда с Кемпом — вдоль изгороди, и мы искали три часа и не нашли ничего, и в девятом часу я остановился посреди вырубki и сообразил, что мы ищем в неправильную сторону, потому что ищем там, где удобно искать.

Он держал ось.

Он держал её два месяца, в клетке, в шесть шагов, и сторона у него была одна.

На прогалину мы пришли вчетвером в одиннадцатом часу.

Он сидел у четвёртого камня, в травяном круге, шагах в двух от подножия, и сидел он ровно так, как сидел в коробе: посередине, повернув морду к чаше, и не рыл, и не ходил, и вообще ничего не делал. Трава в круге была ему по хребет, и его бледная спина в ней читалась издали, как читается камень в воде.

Он сидел там, по счёту Гуша, не меньше трёх часов, а по следу выходило, что шёл он туда всю ночь и пришёл до света. Мы стояли на краю прогалины и не подходили.

— Господин барон, а можно я скажу?

— Тильда, говори, только тихо.

— Он не роет, — доложила она. — Господин барон, он два дня рыл в клетке и прошёл под плиту, а тут земля мягкая и никто не мешает, и он сидит третий час и не копнул ни разу. Стало быть, он пришёл не рыть.

— Господин, я до него дойду и возьму.

— Гуш, стой где стоишь.

— Господин, он смирный, — не принял он. — Я его с апреля кормлю, он мне в ведро головой лезет.

— Гуш, дело не в нём, — отозвался я. — Дело в том, что мне до этого камня нельзя ближе чем раз в десять дней, а я был двенадцатого, и нынче двадцать третье, и всё бы сошлось, кроме одного: я туда пойду не смотреть.

Мы простояли на краю прогалины, наверное, с полчаса и за полчаса перебрали всё.

Ящик и сеть предлагала Илария, приехавшая к полудню, и предлагала она их дважды, и оба раза по делу: зверь не крупный, брать его сетью не опасно ни для него, ни для нас, и через четверть часа он был бы в карантине. Бернат предлагал обкопать и поставить ловушку, Тильда — заманить ведром, и ведро принесли, и он на него не повернулся.

Я стоял и смотрел на бледную спину в траве и думал совсем про другое.

Я думал про то, что мы его два месяца кормим, лечим ему когти, завели ему имя и отдельную книгу, и что всё это время он держал сторону, и что теперь он до неё дошёл своими лапами через полторы версты сухой земли, и что первое, что мы собираемся сделать, — это накинуть на него сеть.

— Тобиас, вы собираетесь туда идти.

— Илария, собираюсь.

— Идите, — произнесла она и поставила сумку на землю. — Тобиас, я вам скажу одно, и вы не спорьте. Ежели через четверть часа вы будете лежать, я вас потащу, и мне будет всё равно, что там у вас в предписании.

Я подошёл к нему шагов на пять и сел на землю, чтобы быть ниже.

Он повернул морду и повёл ею сверху вниз — тем самым медленным движением, как в первый раз, — и я положил ладони на землю, на мокрую в круге траву, и потянулся.

И в этот раз я не стал смотреть.

За девять лет я привык, что мой способ обходиться со зверем — это смотреть: найти, разобрать, понять, где болит. Я это делал с пеплогривом, с кисейницей, с двадцать второй, и всякий раз я был тем, кто глядит. А тут глядеть было нечего: он не болел, не голодал и не боялся, и всё, что я мог, — это попросить.

Я не знаю, как это описать, и за год не придумал слов лучше вот этих: я "толкнул" к нему одно-единственное — пойдём.

Держалось это долго.

Он не встал сразу и не пошёл за мной, как идут прикормленные. Он сидел и как будто взвешивал, и я чувствовал это взвешивание физически — как чувствуешь чужую руку, которая держит твою и не решила ещё, сжать или отпустить, и всё это время меня тянуло вниз и вбок, к чаше, и тянуло сильно, и я понимал, что тянет не он, а то, что за ним.

Потом он встал.

Он обошёл меня по дуге, не приближаясь, вышел из круга и пошёл через прогалину к ольшанику, и шёл он не быстро и не медленно, а ровно, и ни разу не обернулся, и Гуш пошёл за ним в двадцати шагах, а Бернат за Гушем.

А я не пошел, потому что не мог встать.

* * *

Что было дальше, я знаю по чужим словам, и слова эти я записал с двух человек порознь, потому что так вернее.

По Иларию: я сидел в круге ещё около трёх минут, потом наклонился вперёд и остался в этом положении, и она добежала и повернула меня набок, и крови в этот раз не было, а был холодный пот и очень редкий пульс. По Тильде: она подбежала второй, и я был в сознании и отвечал, но отвечал невпопад — на её «господин барон, вы меня слышите» сказал «шесть шагов».

Донесли меня до телеги вчетвером, и до дома я доехал лёжа.

К вечеру я встал и ходил, и голова не болела, и ничего не двоилось, и я успел подумать, что обошлось дёшево.

А на другое утро я пошёл в шестой двор к кисейницам — и не нашёл их.

То есть я их видел.

Они сидели на жерди, все трое, и старшая чистила перо, и подросток возился в углу, и я стоял в шести шагах и смотрел на них глазами, и глазами было всё в порядке. А того, что было у меня девять лет — того тихого тёплого пятна, по которому я, не глядя, знал, спит она или нет, — не было вовсе.

Я обошёл в то утро все шесть дворов, карантин и подвал.

Пусто.

Не пусто в смысле «плохо слышно» — а так, как бывает пусто в комнате, где нет никого: нечего искать и не к чему тянуться. Я простоял у загона двадцать второй, наверное, полчаса, и она подошла к решётке и села напротив, как садилась всегда, и я смотрел на неё в упор и не чувствовал ничего.

Тогда я сел прямо там, на землю, и мне было очень скверно, и сидел я так, покуда не пришёл Гуш и не сказал, что бочки привезли.

Иларии я сказал на третий день, и сказал потому, что она спросила прямо.

Она пришла в кабинет без стука, что делает раз в год, села напротив и положила руки на стол.

— Тобиас, что вы потеряли?

— Илария, я не понимаю вопроса.

— Понимаете, — не приняла она. — Тобиас, вы третий день ходите по дворам и трогаете зверей руками. Вы девять лет их руками не трогали, вам не надо было. Я это заметила во вторник и два дня молчала.

Я ей рассказал.

— Тобиас, а больно было?

— Илария, больно не было вовсе. В том и дело.

— Вот это и скверно, — ответила она. — Тобиас, боль человека останавливает, а вас ничего не остановило. Вы сидели в круге и тянули, покуда не кончилось.

Рассказ вышел короткий и жалкий, потому что рассказывать было нечего: я попросил, он послушал, и с тех пор у меня нет того, чем я просил. Она выслушала до конца, не перебив ни разу, и когда я кончил, встала, обошла стол и села рядом.

— Тобиас, я вам скажу как зверодоктор, и это единственное, что я умею.

— Илария, говорите как есть.

— Всякая живая вещь, которую перегрузили, или отрастает, или нет, — уточнила Илария тен Овеск. — И узнать заранее нельзя, а торопить нельзя тем более. Я двенадцать лет смотрю на сухожилия и знаю только одно правило: три недели покоя, а потом видно будет.

Мокрый в те дни сидел в клетке, ел и не рыл.

Он перестал рыть в ту же ночь, как вернулся, и не начинал больше, и Илмет записал это отдельной строкой и подчеркнул, и в четвёртой графе написал, что не понимает, и что не понимает именно этого — не ухода, а того, что зверь, дошедший до чаши и увиденный от неё, перестал копать вовсе.

Я в те дни к нему не ходил.

Ходил Гуш, ходила Тильда, один раз пришла Мавра со своим ведром и вязаньем, а я не ходил три недели, и это было не суеверие и не обида, а очень простое: я боялся сесть у решётки, потянуться и опять ничего не найти.

— Господин, вы к нему сходите.

— Илмет, я схожу позже.

— Господин, вы к нему сходите нынче, — не принял он и стал в дверях. — Я не про ваше. Я про книгу. У меня в отдельной книге двадцать второй шесть лет записано, кто к ней приходил и сколько сидел, и по этой книге видно, когда она начала откликаться. Господин, вы тогда ходили каждый день и ничего не умели.

* * *

К Мавре я пришёл на семнадцатый день, вечером, и пришёл без всякого дела.

Она сидела у окна с вязаньем — тем же, с которым сидела у клетки, и в кухне было темно, и она вязала в темноте, как вяжут те, кто научился этому семьдесят лет назад. Я сел напротив и с четверть часа ничего не говорил, и она не спрашивала, и это был единственный дом, где так было можно.

— Мавра, я, кажется, потерял то, зачем я тут нужен.

— Ты это про свои штуки со зверьём?

— Да.

— Ну, — отозвалась она и не перестала вязать. — Стало быть, будешь как все.

Я на эти её слова засмеялся впервые за три недели, и смех вышел скверный, и она его переждала.

— Мальчик мой, ты вот что пойми, — заговорила она, довязав ряд. — Ты здесь появился девять лет назад и ничего не умел, а Урочище стояло. И скотина стояла, и Гуш при ней, и я при печи. А ты завёл книгу и стал считать, и оттого всё пошло. А штуки твои — они сверху.

— Мавра, я этими штуками кисейницу нашёл.

— Ты её нашёл, а резал её не ты, — не приняла она. — Резала барышня, а держали четверо. Мальчик мой, ты у нас не оттого главный, что чуешь. Ты у нас главный оттого, что записываешь и не врёшь. А чуют — это, прости господи, как красивый голос: хорошо, когда есть, а хлеб делают пекари.

* * *

След нашёл Гуш, и нашёл он его на девятый день после того, как всё улеглось.

Ходил он на прогалину не по делу, а по своей привычке смотреть, как трава поднимается после потравы: в круге у четвёртого камня она была примята — Мокрым, нами, телегой, и Гуша занимало, встанет ли она и за сколько. Он ходил туда трижды и на третий раз присел у самой границы круга и сидел долго.

Потом пришёл ко мне и позвал с собой, не объясняя.

— Господин, вот тут смотрите. Вот наши, вот мои, вот телега, вот бабьи.

— Гуш, ты погоди, я не вижу разницы.

— Господин, вы на каблук смотрите, а не на след целиком.

— Гуш, а это чей?

— А это, господин, не наш, — доложил он. — Сапог. Каблук подбит железом полукругом, а не сплошь. У нас так никто не подбивает, у нас Бернат сплошь бьёт, я у него шестой год чиню.

Мы промерили этот след и промерили все обутые ноги в Урочище, и было их пятнадцать, и ни одна не сошлась.

След был один и стоял он не в круге, а на границе, снаружи, — так стоит человек, который подошёл, посмотрел и не подошёл ближе. Он был вдавлен глубоко, потому что земля в границе круга всегда мокрая, и сохранился он оттого, что мы девять дней ходили в обход, боясь потоптать примятое.

Второго следа не было ни рядом, ни в двадцати шагах, и это было хуже всего.

Человек, который дошёл до четвёртого камня по сухому полю, ступил один раз на мокрое и не повторил этого.

Свод я заполнил в тот же вечер и заполнил длинно, а кончил его тремя строками, которые с тех пор перечитываю чаще прочих.

«Моё мнение: я три недели думал, что расплатился за одного зверя.

Заметить: расплата вышла не за зверя.

Заметить второе: он приходил смотреть, куда мы искали Мокрого, — то есть в те три часа, когда на прогалине не было никого».

* * *

Спорили мы в тот вечер об одном: кому про этот след сообщать.

Ортвейл под следствием, и всякая бумага, посланная ему, ложится теперь в его дело, а не в наше. Гербольт отвечает как магистр и оттого ответит по форме, а по форме след человека на прогалине — это не порча чаши и не его часть. Хольт председатель, и до четырнадцатого августа ему нельзя писать ничего, кроме положенного, потому что всякое письмо к председателю до освидетельствования читается как попытка объясниться заранее.

Выходило, что сообщать некому, и выходило это по всем трём направлениям сразу.

— Господин барон, я вам скажу, что мы станем делать.

— Гретхен, говорите, я слушаю.

— Ничего не станем делать, — произнесла она и придвинула чистый лист. — Мы измерим след, зарисуем его в две проекции, снимем оттиск гипсом, который у вас остался с прошлой зимы, и всё это подошьём в дело осмотров под номером четвёртым. И будем сидеть на нём до четырнадцатого августа.

— Гретхен, а что в августе?

— А в августе, господин барон, вы положите это на стол перед председателем и скажете двенадцать слов, — уточнила она. — «Найдено двадцать третьего июля, сообщено не было, потому что сообщать было некому». И, господин барон, вы поглядите, как это подействует на человека, который сам в такой же яме сидит четвёртый год.

Глава 6

Первого августа Гуш принёс с ольшаника треть ведра, и это было всё, что там оставалось годного.

Мы в те дни перешли на счёт по горстям. Илмет завёл отдельный лист, куда записывал, сколько дано и сколько съедено, и по этому листу выходило, что Мокрый берёт меньше, чем ему надо, и берёт молча: он не кидался на ведро, не ходил, не тревожился, — он просто съедал то, что дали, и ложился, и вставал на другой день на час позже.

За первую неделю августа он потерял четыре фунта из тридцати одного.

— Тобиас, я вам скажу прямо, и вы не спорьте.

— Говорите, я уже привык, — ответил я, смотря на свою собеседницу.

— Он не голодает, он гаснет, — произнесла она и положила ладонь ему на спину через решётку. — Тобиас, голодный зверь злится и ищет. А этот лежит и экономит, и я такое видела у старых собак, которых хозяин оставил. Он не ждёт, что станет хуже. Он уже решил, что будет.

* * *

Мартин вернулся шестого августа, под вечер, на попутной телеге, и я не узнал его со двора.

Он уезжал в сюртуке, а вернулся в чужой рубаше и в шляпе, каких у нас не носят, худой, чёрный от солнца, с обмотанной тряпкой правой рукой и с двумя мешками, которые сгрузил сам и никому не дал тронуть. Мавра увидела его из кухонного окна, вышла на крыльцо, оглядела и ушла обратно, ничего не сказав, и через четверть часа на столе стояло всё, что было в доме горячего.

Ел он долго и молча, и мы все сидели вокруг и не спрашивали.

— Барон, я прошу час и прошу, чтобы записывали.

— Мартин, вы сперва поспите.

— Барон, я спать не стану, покуда не сдам, — не принял он и отодвинул тарелку. — Я одиннадцать лет служил при человеке, который умер, не заверив своего дела. Зовите Илмета.

Докладывал он в кабинете, стоя, два с половиной часа, и Илмет писал, а Гретхен правила за ним на полях.

Балаган Хорста больше не ездит. Его распродали в апреле, через два месяца после изъятия, и распродали по частям: шатёр и телеги ушли в Кальтен, клетки — в три места, а людей Хорст рассчитал сам и рассчитал честно, до последнего медяка, чем в тех краях и знаменит. самого его Мартин нашёл в Верхнем Вельне, в доме зятя, и разговаривал с ним четырежды, и первые два раза Хорст не сказал ничего.

На третий он сказал всё сразу.

— Барон, он не запирался. Он боялся.

— Боялся? — немного удивился я.

— Того, что я приехал за деньгами, — доложил Мартин Веккель. — Барон, ему за этого зверя платили. Десять золотых в квартал, восемь кварталов подряд, и платили не за представление, а за прокорм. Он мне показал свою книжку. Там против каждого взноса стоит «за содержание, с уговором не показывать».

Я на это встал и прошёлся по кабинету.

Восемь кварталов — это два года ровно, и два года выходили от февраля позапрошлого, то есть от той самой ночи, когда Ортвейл с фонарём стоял в яме под чужим камнем и смотрел, как тринадцать зверей лезут по отвесной стенке на воздух. Одиннадцать из них ушли в казённую псарню и там кончились в год. А двоих взяли на месте по усмотрению изымающего —

и через несколько дней в Верхнем Вельне человек, возивший балаган одиннадцать лет, начал получать по десять золотых в квартал за то, чтобы кормить зверя и никому его не показывать.

— Мартин, кто платил?

— Платили через контору в Кальтене, — ответил он. — Барон, наличными Хорст не видел ни разу. Он ходил в контору с распиской и получал, и расписки у него все целы, потому что он человек аккуратный и боится ревизии больше, чем бога.

— Мартин, а контора?

— Контору я вам назову, — уточнил он, — И вы, барон, сядьте.

Про руку он рассказал только на другой день и рассказал неохотно.

Тряпку размотала Илария, и под тряпкой оказался старый, уже подживший рубец через всю ладонь, поперёк, глубокий, зашитый чужой ниткой и зашитый скверно. Она молчала, пока осматривала, и молчала она тем особенным молчанием, которое в нашем доме все выучили бояться.

— Мартин Веккель, кто вам это шил?

— Фельдшер в Кальтене, сударыня.

— Фельдшер в Кальтене шил вам это грязной иглой, — произнесла она. — И вы, судя по рубцу, три дня ходили с этим и никому не показывали. Отчего?

— Оттого, сударыня, что три дня я ждал человека, который был мне нужен, — доложил Мартин Веккель. — Ежели бы я лёг, я бы его упустил.

Вышло это, по его словам, глупо и просто.

Клетки из балагана Хорста ушли в три места, и одно из этих мест было в Кальтене, у скупщика, и Мартин поехал туда посмотреть, нет ли на клетках чего — метки, номера, чужой починки. Клетка нашлась, та самая, с глухой стенкой, и он полез внутрь с фонарём, и в темноте взялся рукой за край листового железа, которым изнутри был подшит пол.

Железо было отогнуто и разрезано, и разрезано изнутри.

— Барон, я ладонь распорол о его работу, — договорил он. — Он два года эту клетку вскрывал и не вскрыл. Барон, там железо в три слоя, и все три процарапаны насквозь на полладони.

* * *

Про то, отчего он не писал, он объяснил в тот же вечер, коротко.

— Барон, я вам с дороги не написал ни разу и не напишу впредь, и я хочу, чтобы вы знали причину, а не думали, что я осторожничаю сверх меры.

— Мартин, я вас слушаю.

— В Верхнем Вельне за мной ходили, — произнес он. — Барон, я это заметил на пятый день и проверял три дня, потому что мне не поверили бы и я сам себе не верил. Один человек, всегда в отдалении, менял платье, но не менял обуви. И в Кальтене он же был в трактире.

— Мартин, вы его разглядели?

— Я его разглядел плохо, — уточнил он. — Барон, я вам его не опишу, и оттого не буду и пробовать. А обувь я разглядел. Сапог с подковкой полукругом, как у нас в уезде не бьют.

Гретхен положила перо прежде, чем он договорил.

Она это поняла первой, и поняла по одному тому, как он сказал «сядьте», и, пока он доставал из-за пазухи сложенный лист с переписанным заголовком расписки, она уже шла к шкафу за другим делом — тем, где у неё с июня лежало письмо к Иларии тен Овеск.

Положили оба листа рядом.

Контора была не та же самая — на расписках Хорста стояло кальтенское отделение, а на письме Иларии столичный дом, — но нижняя строка, та мелкая, где по обычаю печатают, кому отделение подведомственно, совпадала слово в слово.

— Господин барон, я вам не скажу, что это доказательство.

— Гретхен, я знаю, что не доказательство.

— Я скажу вам иначе, — не приняла Гретхен Веккель. — Это то, что называется совпадением и что в суде рассыпается за минуту, потому что через этот дом в Кальтене платят за лес, за соль и за перевоз половина уезда. Господин барон, мы с вами нынче знаем, а показать не можем ничего.

Второй мешок Мартин развязал уже в первом часу ночи, и развязал он его в карантинном дворе, при фонарях.

В мешке была труха — чёрная, тяжёлая, много темнее нашей, с крупными белыми нитями, которые в свете фонаря видно было без всякого разглядывания. Он вёз два таких мешка от Верхнего Вельна на перекладных двенадцать дней, и мешки эти в дороге грелись и текли, и от него оттого и пахло, и Мавра, оказывается, поняла это ещё на крыльце и ничего не сказала.

Расписки Хорста Гретхен считала до утра и насчитала ровно восемьдесят золотых.

Считала она их не для суммы — сумма была ясна с первой строки, — а для дат: ей нужно было, в какие числа он ходил в контору, и она выписала все восемь и разложила по кварталам, и вышло, что первые семь взносов приходились на первую неделю квартала, а восьмой — на третью, с запозданием в двенадцать дней.

— Господин барон, вот эти двенадцать дней я вам показываю особо.

— Гретхен, а что они значат?

— Они значат, что в последний раз кто-то думал, платить или нет, — уточнила она. — Господин барон, семь раз это делалось не думая, по заведённому. А на восьмой затянули на двенадцать дней, заплатили — и девятого взноса не было вовсе. Между седьмым и восьмым у них что-то произошло.

Мокрый встал на четвёртой горсти.

Он не подошёл — он поднялся, перевалился через подстилку и полез мордой в ведро, и жрал он так, как не жрал с мая, давясь и фыркая, и Гуш стоял рядом и придерживал ведро, чтобы он его не опрокинул, и у Гуша было лицо человека, который вот-вот скажет что-нибудь неприличное.

— Господин, он это два года ел.

— Гуш, ты по чему судишь?

— По тому, что он в ведро с первого раза попал, — доложил он. — Господин, наше он два месяца брал с краю и пробовал. А это он знает.

Мавра к Мартину в те дни приставила Тильду и приставила её без всяких объяснений.

Выглядело это так, что Тильда всюду за ним ходила с кружкой, и всякий раз, как он садился, кружка оказывалась перед ним, и он её выпивал, потому что спорить с Тильдой утомительнее, чем выпить. К третьему дню он стал прятаться от неё в зимовнике, и она нашла его и там.

— Мальчик мой, ты видал, какой он пришёл?

— Мавра, я видел. Он двенадцать суток на перекладных.

— Он не оттого такой, — не приняла она и не обернулась от печи. — Он оттого такой, что два месяца один ходил и сам с собой разговаривал. Я это на своём сыне видала. Мартин

мой тоже ездил по неделе и приезжал вот такой же, чужой, и его надо было три дня кормить, прежде чем он опять делался наш.

Она поставила в печь второй чугунок.

— Ты его никуда неделю не посылай. И спрашивать много не давай. Пушай походит, отдохнет.

Мокрый за пять дней на чёрной трухе набрал два фунта из потерянных четырёх.

Он стал ходить свой круг вдвое дольше прежнего, начал брать корм из рук, чего не делал ни разу, и один раз ночью Гуш видел, как он с полчаса сидел у самой решётки с той стороны, где стоит ведро, и водил мордой сверху вниз, как водил в мае.

Гуш доложил мне об этом утром и доложил с оговоркой.

— Господин, я вам это скажу, а вы в книгу не пишете.

— Гуш, ты знаешь, что я напишу.

— Знаю, — подтвердил он. — Ну и пишите, только припишите, что это я сказал, а не видел. Господин, он не ведро нюхал. Он на дверь глядел, откуда вы ходите.

Труху эту возили Хорсту возами, и возили её с одного места.

Мартин добрался и до места: делянка в семи верстах от Верхнего Вельна, старая вырубка, выкупленная в позапрошлом марте у города за смешные деньги и с тех пор не разрабатываемая. Он туда ходил пешком, потому что подводу нанять не сумел, никто не вёз, и на делянке простоял полдня, и на ней его никто не тронул, потому что там не было ни сторожа, ни собаки, ни забора.

Там была яма.

Четыре сажени поперёк, с обваленными краями, обросшая по дну ольховым подростом в два человеческих роста, и в середине дна, под подростом, — серый камень с чашей, пустой и сухой.

— Мартин, вы в чашу заглядывали?

— Заглядывал, барон, и рукой щупал, — ответил он. — Холодная. Сухая. Ничем не пахнет. Барон, я четыре года подшивал бумаги про мёртвые чаши и первый раз видел мёртвую своими глазами, и вот что вам скажу: она мёртвая, а вокруг неё на четыре сажени растёт то, чего в тех местах больше нигде нет.

Гретхен свела всё это к одной строке, и строка вышла неприятная.

Кто-то в позапрошлом году открыл чашу в семи верстах от Верхнего Вельна, выпустил тринадцать зверей, одиннадцать из них потерял в казённой псарне, двоих оставил себе, выкупил землю над ямой, чтобы к ней никто не лазил, устроил на ней покос трухи и два года платил постороннему человеку за то, чтобы зверь ел и не показывался.

А потом почему-то перестал платить и отдал зверя на изъятие.

— Господин барон, вот это последнее и есть самое важное.

— Гретхен, отчего именно оно?

— Оттого, что всё прочее делают, когда вещь нужна, — уточнила она. — А это делают, когда она стала не нужна или стала опасна. Господин барон, восемь кварталов платили, а девятый не заплатили. Спрашивать надо не «зачем брали», а «что случилось между восьмым и девятым».

Мартин на это поднял голову, и по лицу его я понял, что у него есть и это.

— Барон, между восьмым и девятым случилось то, что второго забрали.

Я, кажется, переспросил дважды.

— Их было двое, барон, — доложил Мартин Веккель. — Хорст держал двоих в одном возу за глухой стенкой, и второй был поменьше и посветлее. В апреле приехали и забрали одного, а через шесть недель на балаган пришло изъятие, и с ним забрали второго, и второй ваш.

— Мартин, приехали кто?

— Двое в коляске, — ответил он. — Барон, я у него спросил трижды, и трижды он ответил одинаково: двое в коляске, вежливые, при бумаге. Бумагу он не читал, потому что она была не ему, а ему показали и убрали.

Дальше мы сидели молча, наверное, с минуту, и первым заговорил Илмет.

— Господин, у нас пара.

— Илмет, у нас половина пары.

— У нас пара, которая разделена, — не принял он и придвинул ко мне свой лист. — Господин, это две разные вещи. Ежели вид представлен одной особью, его нет. А ежели вторая особь жива и известно, что она была, — это уже не вид в одном экземпляре. Это вид, у которого один экземпляр отобран.

Он подчеркнул написанное дважды.

— И я вам скажу, отчего это важно не для палаты, а для нас. Господин, ему полегчает не от трухи.

Илария застала нас всех в том состоянии, какое бывает у людей, не спавших ночь и считающих, что они что-то поняли.

Она выслушала пересказ, посмотрела, как Мокрый ест, послушала Илмета про «отобранный экземпляр» и села на перевёрнутый ящик, и по тому, как она села, я понял, что сейчас нас будут возвращать на землю.

— Тобиас, у вас сколько этой чёрной трухи?

— Илария, два мешка. По счёту Илмета — на девятнадцать дней.

— Девятнадцать дней, — повторила она. — А от Верхнего Вельна до нас двенадцать суток на перекладных, и делянка чужая, и лазить на неё вы права не имеете. Тобиас, вы нынче ночью узнали много хорошего, и я вас поздравляю, а зверь у вас по-прежнему будет голодным через две недели.

Она натянула перчатку.

— И вот вам ещё. Мешки текли в дороге. Стало быть, оно живёт, покуда мокрое. Значит, возить его за двенадцать суток нельзя вовсе — это в последний раз довели чудом.

О своём письме она заговорила сама, и заговорила к вечеру, когда мы остались вдвоём во дворе.

— Тобиас, покажите мне ту нижнюю строку.

— Илария, вы уверены, что хотите её видеть?

— Я хочу её видеть и хочу видеть сама, а не с ваших слов, — отрезала она.

Я принёс оба листа, и она читала их долго, у фонаря, держа рядом, и дочитав, сложила своё письмо вчетверо и убрала в карман, а не отдала обратно.

— Тобиас, я вам скажу, что переменялось.

— Илария, скажите.

— До нынешнего дня это было предложение, и я могла его не заметить, — уточнила Илария тен Овеск. — А нынче выяснилось, что те же люди два года платили за зверя, которого держали в темноте. И теперь это не предложение. Теперь это соседство.

Состав комиссии нам прислали за неделю, и Гретхен прочитала его вслух дважды.

От палаты трое: магистр М. Хольт, председательствующий; магистр В. Крич, тот самый, который ездит к нам девять лет на квартальный учёт; и третий, которого никто из нас не знал, с одной пометой «по действующим переходам». От казначейской части — магистр А. Гербольт. Писец без имени, как положено.

На фамилии Гербольта Мартин поднял голову.

— Барон, вот это уже кое-что.

— Мартин, он отвечает как магистр. Он мне это написал своей рукой.

— Он вам написал, что отвечать будет как магистр, — не принял Мартин Веккель. — Барон, он не написал, что глядеть будет как магистр. Человек, которому за шестьдесят, сорок лет службы, едет двести вёрст в августе. Он мог послать любого из своих.

— Мартин, у него дело о порче чаш.

— У него дело, барон, и ему довольно было потребовать бумаги почтой, — уточнил он. — А он едет.

Крича в этом составе я боялся больше прочих, и боялся не зря.

Девять лет он приезжает и считает, и за девять лет между нами сложилось то неписаное, при котором он видит мои нарушения и записывает половину. Он знает, что у меня карантин двадцать один день вместо предписанных четырнадцати, что я держу в шестом дворе кладку, о которой не заявлял до самого приплота, и что в позапрошлом ноябре обходы писал не Илмет. Он всё это знает и молчит девять лет, и молчит по собственному разумению.

А в комиссии он будет не один.

— Господин барон, вы понимаете, что он завтра станет строже, чем всегда?

— Гретхен, понимаю. Он председательствует.

— Не от этого, — не приняла она. — Господин барон, оттого что он вас девять лет покрывал, и завтра ему надо показать, что не покрывал. Он вас будет пилить на глазах у Хольта по мелочам, и вы не вздумайте обижаться. Это он с вас и с себя снимает с себя подозрение.

Двенадцатого августа дом взялись готовить к комиссии, и готовили его полтора дня.

Убирали не грязь — грязи у нас нет, а то, что Гретхен называла «лишним на виду»: вынесли из кабинета всё, что не по делу, освободили две горницы под постой, перебрали зимовник, где должны были заседать, поставили там четыре лавки и стол, принесли с чердака большой подсвечник, которого я за девять лет не видел ни разу. Тильда с Кемпом перебелили начисто дело осмотров, все четыре листа, и подшили гипсовый оттиск следа в холщовом конверте.

Я в этот день ходил и ничего не делал, и это было хуже всего.

— Господин барон, вы мешаете.

— Тильда, я хозяин.

— Вы хозяин, и оттого мешаете вдвое, — не приняла она. — Господин барон, вы уже четвёртый раз спрашиваете, подшит ли оттиск. Он подшит. Идите и посидите где-нибудь, а то на вас глядят и тоже начинают дёргаться.

Про то, что я скажу комиссии, мы говорили в последний раз одиннадцатого, вчетвером, и говорили полтора часа.

Гретхен стояла на своём с июля: молчать нельзя, врать нельзя, а значит, остаётся третье, и третье надо выговорить самому и первым, ровно как с чашами. Мартин, вернувшийся два дня назад и слышавший всю историю в пересказе, впервые за четыре года со мной не согласился вслух.

— Барон, я вам скажу против сударыни, и скажите ей спасибо, что я говорю при ней.

— Мартин, говорите.

— Чаши — это вещь, — произнес он. — Вещь можно предъявить, и в этом вся сила вашего майского заявления: вы сказали про то, что лежит и никуда не денется. А тут вы скажете про себя. Барон, про себя в палате говорят один раз в жизни, и после этого дело заводят не на переход, а на человека.

— Господин барон, а что будет, ежели он смолчит? — не приняла Гретхен. — Мартин Веккель, там при этом было четверо наших, и один из них Тильда, которой семнадцатый год. Вы её станете учить, что отвечать?

Кончилось это тем, что решать пришлось мне, и я решил не сразу.

Я ушёл тогда из кабинета и полчаса ходил вокруг пруда, и думал я не про палату и не про дело, а про очень простую вещь: за девять лет я завёл в этом доме порядок, при котором всё записывается, и держится этот порядок не на уставе, а на том, что я записал про себя ложный обход в позапрошлом ноябре и подчеркнул. Если я теперь смолчу про главное, порядок останется на бумаге, а в доме его не будет, и первым это поймёт Илмет, а вторым — Тильда.

Вернулся я и сказал одно слово.

— Скажу, и скажу первым.

— Господин барон, тогда я вам это напишу, — произнесла Гретхен и села к столу. — Двенадцать слов, как со следом. Больше не говорите ничего, даже если будут спрашивать.

Вечером двенадцатого я спустился в подвал и просидел там до полуночи.

Яму мы за лето обнесли досками и завесили рогожей, потому что по предписанию доступа быть не должно, и рогожа эта за четыре месяца пропылилась и стала как стена, и подвал опять сделался обыкновенным подвалом с ящиками и с плитой. Двадцать вторая лежала у себя, и когти у неё на передних отросли на треть, и она подошла к решётке и села, и я сидел напротив и по старой привычке потянулся — уже без надежды, как тянутся к больному зубу языком.

И нашёл.

Не так, как прежде: слабо, с провалами, будто слышишь голос через стену, — но нашёл, и это была она, и в ней было то ровное спокойное, что я знал шесть лет.

Я просидел так минут двадцать и ничего больше не делал, и поднявшись наверх, никому не сказал.

Илария уехала тринадцатого перед закатом, и я провожал её до ворот.

Она возилась с подпругой дольше, чем нужно, и я стоял рядом и тоже тянул время, и мы оба это понимали.

— Тобиас, я завтра приеду к полудню.

— Илария, завтра комиссия. Вам там нечего делать.

— Мне там есть что делать, — ответила она. — У вас там будет пять человек из палаты, и все они станут смотреть зверей, и половина полезет в шестой двор, где кладка. Тобиас, я туда никого не пущу, а вы пустите, потому что вы хозяин и постесняетесь.

Она застегнула сумку и обернулась.

— И ещё я приеду оттого, что вам завтра придётся сказать вслух то, чего вы не говорили никому, кроме меня и Гуша. И я хочу при этом быть.

Он приехал в девятом часу вечера, тринадцатого, за сутки до срока, один и верхом.

Я вышел на крыльцо на голоса и увидел во дворе лошадь и человека, который её расседлывал сам, и Гуша, стоявшего рядом и не мешавшего, и по спине человека понял, кто это, раньше, чем он повернулся.

Марек Хольт был в дорожном и без всяких знаков службы.

Он закончил с подпругой, отдал повод Гушу, поблагодарил его по имени и только после этого подошёл к крыльцу и снял шляпу, и остановился на нижней ступени, не поднимаясь.

— Барон, я приехал на сутки раньше и приехал не как председатель.

— Магистр Хольт, а как кто?

— Покамест никак, — ответил он. — Барон, председателем я стану завтра в полдень, когда приедут остальные четверо. А нынче я прошу у вас разговора наедине, и прошу не в кабинете, потому что в кабинете у вас все записывают. - И все не под запись.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.